

Галина Щербакова

ЛИЗОНЬКА И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

1

Самое подлое — что это всегда ни с того ни с сего. А она так изнутри устроена: все что угодно, только не неожиданность. Не потому, что она не готова к неприятностям. Господи! Наоборот! Она как раз к ним всегда готова. Как тот идиот-пионер. И сроду не понимала людей, которые чирикают, как птицы, и не ждут несчастий. Она их ждет. И именно потому, что ждет, считает гнусностью с их стороны испытывать ее еще и *такой ерундой*. Зачем ей, и так готовой ко всему — еще и проверки на определение севера и юга? Она что — капитан дальнего плавания? Но время от времени на ровном, можно сказать, месте это происходит: все вокруг нее меняет свои места. Север становится югом, восток западом, верх — низом, и сама она оказывается неизвестно где, а отсюда и неизвестно кем.

Чего она боится больше всего, когда это случается? Она боится, что, испугавшись, не вспомнит, как из этого выходить. А выходить надо сразу, мгновенно, ни в коем случае не застревать в этой неопределенности. И уж тем более — не дай

Бог! — не увлечься исследованием странного перевернутого мира. Есть такое чувство, есть! Страшно, пот по спине крупными каплями, крик уже движется к горлу — и одновременно хочется остаться в этом «черт-те где».

Вот почему быстро делается так: плотно закрываются глаза и головой встряхивается так, чтоб взвизгнули мозги. Потом — обязательно! — будет тошнить, пойдут перед глазами, которые уже откроешь, круги-разводы, но это все уже в четко ориентированном, тебе знакомом месте-времени.

Вот и на этот раз. Стояла на коленях, ножом копала землю. Все слова, что есть в русском языке, о себе на коленях говорила: и дура, и кретинка, и психопатка, и малохольная, рыла землю и говорила, выла и говорила. Наконец, закопала то, что принесла, травой присыпала, вздохнула, как шахтер в забое, стала подыматься с колен и... Батюшки! — ничего не понимает и места не узнает. А тут еще положение — на полуколенях, и посадочка вокруг не то что шумит, а так, чуть постанывает, а воздух кругом стоит плотный и слипшийся. Такого она сроду не видела: как в воздухе азот с кислородом и водородом слипаются и искрят в месте слипания, и становится непонятно, как этим можно дышать? И сразу начинаешь задыхаться от спазмов. Она так тряхнула головой, что упала лицом в землю и уже на земле почувствовала, как все вокруг нее

перестроилось. Приподнялась — все уже на месте. Воздух разлился, чуть-чуть где-то нехорошо поблескивает, но уже не страшно его вдохнуть. Для верности приложила руку козырьком — все правильно. Там — ее бывший дом, там — электростанция, а там — шахта, а рядышком кладбище. Все на месте. А под коленями — зарытые «буденовки», факт ее идиотизма. Ну, ладно, сказала себе. Сделала — так сделала. Жаль, что руки помыть негде. Второй раз идти проситься к людям — нехорошо. И тут — надо же! — вроде как что-то пискнуло, и она пошла на этот непонятный писк, и пришла, оказывается, куда надо... Такой слабенький, слабенький вытекал из земли ручеек, можно даже сказать, не вытекал — а высачивался. Положила руки прямо ему на горлышко, и пошла обтекать ладони вода, ледяная и нежная. И косточки пальцев стали в воде белыми-белыми, а вены — синими-синими, и грязь под ногтями была какой-то детски выразительной. Все стало четким-четким, как будто те, от кого это все зависит, награждали ее определенностью цвета и формы за то секундное помешательство, когда она не знала ни где, ни кто, ни зачем.

Физически — из-за воды. Морально, ну, морально из-за всего сразу. Что зарыла то, что должна была зарыть, а поставила то, что должна была поставить. Что легко справилась с этим своим

не знаю — где, не знаю — что. Что сейчас вымоет руки и уедет в вагоне СВ, будет стоять у окна и чувствовать себя полноценно.

Господи! Еще утром вообразить себе такое состояние было невозможно. Ее тут все сразу стали тюкать, чего только не выслушала.

Попросилась во двор, чтоб сполоснусь огурцы, и пошло! Вы с кладбища, да? А кто у вас там лежит, что-то мы вас не припоминаем в личность? Дедушка с бабушкой? И вы на них тратились с памятником? Ну, женщина, вы даете! Лучше б уступили это место молодым. Теперь это дефицит... Знаете, сколько теперь в шахте гинет, а места все меньше и меньше. Откуда ж вы можете это знать? Я ж вам только сейчас про то говорю. Отсюда родом? Все равно не знаете, при вашем времени такого еще не было, это сейчас жизнь стала — тьфу! Копейки не дадут и не возьмут. И у вас так? А откуда вы будете? Ну да, ну да... У вас там тоже ничего хорошего... Мы думали, может, вы из Москвы... Хотя что Москва? Тоже хоронить негде... Там всех теперь палят... Ну, и правильно... Сравнить, сколько земли идет?.. — На гроб или на горшочек... Это и в собственном дворе можно закопать... Или на балконе держать... Это я шучу... Когда живешь рядом с кладбищем, то развивается юмор... Не верите? Чистая правда, женщина, чистая! Мы тут все Жванецкие и Хазановы... А как

выживешь, если по пять раз в день — трам-там-там-там... Та-ра, рам-пам-паппам... Но вы все затеяли зря... Лишние, значит, деньги.

В очереди за водкой тоже шло дознание: зачем бывшим людям, от которых уже ничего не осталось (тут вникали в подробности — через какой срок от человека остаются одни кости, что из надетой материи выгнивает раньше и интересно, как ведет себя в таких случаях капрон), нужны памятники. Это даже нехорошо по отношению к другим старопохороненным. Получается, что памятный родственник воображает перед другими. «Женщина, не корчите из себя. Вы ничего к ним уже не чувствуете. Это вам надо показать». Не знала, как спастись, хорошо, увидела на прилавке минералку, спросила мужиков: брать? Да вы что! Это же для исключительно больных, а мы исключительно здоровые. Мы — абсолютно... Пришлось даже оправдываться, что она не подозревала их — ни Боже мой! — в физической немощи. Какая там немощь! Пять бутылок на троих. Просто подумала — вдруг запить захочется?

Тут же услышала: женщина, девушка, как вас? Покупаете могильщикам? Берите самую дешевую водку, нечего их баловать... Приезжие любят ставить из себя, покупают даже коньяк... Но ведь нам с ними тут оставаться, как вы себе представляете, ваши покойники — последние на

этой земле? Мы все завтрашние покойники, все в жизни под большим вопросом, а это под восклицательным знаком.

Самое непонятное, что ей хотелось длить эти случайные, а подчас и нахальные разговоры. Они ей казались исполненными смысла. Какого?! Что может быть дельного в трепотне очереди за водкой?

Потом она только что не облизывала грязь с бетонного параллелепипеда, который называется «памятник с мраморной крошкой и портретами», ей хотелось ощутить зубами, деснами, небом эту крошку. Дичь? Дичь... Кричало в ней высшее образование. Зато другая ее часть — необразованное естество, которое отвечает не за факты и знание, а за дрожание подбородка или набухание носа слезами, — та часть говорит: ешь эту землю.

Ничего тут не поделаешь — естество в ней сильнее. Хотя она научила глаза не плакать, нос не... Эта бездарнейшая часть человека, этот не поддающийся воспитанию и дрессуре отрок — с ним может быть всякое: краснение, синение, разбухание, у нее там собираются слезы, будто знают, что в глаза им дороги нет. Вот они и клубятся в носу, бывает, и булькают, и с этим — ни-че-го! Разве что намордник... Она чувствовала приближение носовых слез — соплей, дура! — а рядом были эти мужики, и было у них прекрасное

настроение. Один из них — философ. Он тронул ее локоток. Дама (во!), эта работа наша у вас — хорошая. Памятник — это когда уже не болит. Это — давайте подведем черту. *Итого*, и новая страница. А вот когда живой покойник только-только, тут, конечно, держишь себя в руках, в смысле слов и выражений. Бывают такие крутые слезы и такие крики, что думаешь — все! Меняй профессию. Это когда дети или до сорока. Но в целом — привыкаешь. Находишь лицо, которому не жалко, а даже весело, и на него ориентация. А ваш случай — это подарок. Не обижайтесь. Сколько лет прошло, и они вам не дети. Нормальный же расклад — смерть от старости. По природе... Так что, дама, оттирайте на портретах личики, и давайте закругляться на этом мероприятии. — Да! Да! Я сейчас. Еще минуточку. Ну, вот — слезы пошли из носа, хорошо, что она к ним спиной. А вместе со слезами подымалась в душе какая-то сладкая щемящая радость, слабость, а когда засияли на портрете дедулины глаза, она совсем не выдержала, жалобно вскрикнула и обхватила камень. — Ну, хозяйка, это вы бросьте. Для вытья — темы нет... Займитесь лучше делом... Вон на том столике сделайте нам три куверта.

Ее с земли как ветром сдуло. Действительно, что это она решила подвывать, если самое время кувертов. С этими современными работягами —

откуда они слова такие знают? — никогда ничего не поймешь. Ну, и не надо. Она уже лет тридцать знает одно доподлинно — она ни в жизни, ни в людях ни бум-бум... Как она говорит: живу ощупью. Поэтому она еще раз протерла портрет на бетонном камне. Господи, какие ж у него удивительные глаза, у дедули. Сейчас и нет таких, сейчас вообще у людей нет глаз. Это точно. У людей теперь окуляры перископов, идущих непосредственно из внутренних органов, из желчного пузыря, например. Или из желудка. Бывает, и из прямой кишки. Люди смотрят исключительно потрохами. Тут у нее целая теория, почему так... И она ее может объяснить при случае. Вполне убедительно. Те, кому она это объясняет, ей только благодарны. «Мать! Спасибо. Сразу стало легче... Теперь понимаю — смотрит на меня больная почка, зачем же буду обижаться на ее крик? Я отворачиваюсь, и все. Могу и соответствовать и посмотреть на почку своим спастическим колитом, но, понимаю, это уже некоторое хамство...

Такой теперь юмор.

Она вошла в чужую ограду. Это тоже наше время — входить в чужое, как в свое. Хоть в дом, хоть в душу, хоть сюда. Все такое беленькое, ухоженное, не какие-нибудь бетонные уроды-обрубки, тут стоял настоящий мрамор и

сияла настоящая нержавейка, а столик у могилы и лавочки были из хорошего, выдержанного дерева... Хозяин всей этой красоты тоже был человеком с хорошими глазами. Умер он в 1953 году. Соломон Рубинштейн. Всего ничего было Соломону — сорок лет. Врач. Нет, она его не помнила, но суть смерти этого Рубинштейна в пятьдесят третьем в сорок лет, можно сказать, была абсолютно естественна. Это все равно как смерть во время «той испанки» или гибель в ашхабадском землетрясении. Это смерть в обстоятельствах, которые выше человека. У нас, к слову сказать, всю жизнь такие обстоятельства. Других нет.

Она резала колбасу, огурцы, облупливала яички.

Мысленно разговаривала с Розой. «А приют, — скажет ей, — мы нашли у Рубинштейна. — Беленький такой, дорогой приют. А Роза ей (О! Как хорошо она ее знает!): «Ты на каком слове делаешь ударение? Приют или дорогой?» — «Ты что, меня хочешь уличить в антисемитизме?» — «Ты спятила?» — «Я спятила, но все-таки?»»

Точно так и будет... И она на Розины инсинуации не купится. Если ты дура, то я при чем? Хотя, да, последний приют сорокалетнего Рубинштейна был все-таки дорогой. И ухоженный. Тридцать лет здесь все протирают до блеска, а я со

своей закуской-выпивкой. Прости, Соломон, за все прости... За пятьдесят третий тоже... Я тогда... Была, была минута... Поверила... Но и поняла, какая это все подлость, раньше; чем объявили: подлость. Зачти мне это, Соломон. А тут я все за собой уберу, даю слово, до крошечки...

Лопаты у мужиков зазвенели веселей, у них, у лопат, появился смысл деяния. Светлое будущее. «Откуда он знает слово «куверт?» — думала. Ну, во-первых, ответила сама себе, дерьма пирога знать любое слово... Я тоже уже сто лет знаю слово «убиквисты». Оно мне явилось во время родов. Мне казалось непристойным и недостойным — кричать. Молчаливая мука в моем представлении считалась доблестью. И я лежала, никому не нужная, почти трое суток, чуть не сгубила Аньку своей принципиальной гордостью. А когда мне совсем поплохело, то стали мне являться слова в единстве своего звучания и написания. Откуда-то из-под каталки острым плечом выскочила — *уключина* и стала не то покалывать, не то покусывать. Типичная «оце така мара». Так говорил родной мой дедуля, когда надо было определить нечто, материалистическому сознанию чуждое. И пишла, говорил он, оце така мара.

Вот и у меня она пишла.

И когда я застонала от пыток уклучины, явились-не запылились остренькие, ладненькие,

черные с серебром убиквисты (почему оба слова были на «у»?). Они шуганули уключину, плотно «уби к вистам» зависли надо мной, дышать через них было трудно, уже даже и не продохнуть, но они хоть не кусались, спасибо большое.

Слава Богу, шла мимо полемойка со шваброй, посмотрела на меня и закричала: «Вераванна, а эта мамаша уже синееет». Потом полемойка положила свое пролетарское орудие труда и приняла в руки другой угол свернутой в жгут простыни. Первый держала Вераванна. Убиквисты и уключина ни на шаг не отходили. Еще бы! Мне бы тоже было интересно посмотреть, если бы это не из меня, а из кого другого выдавливали ребенка.

Теперь «убиквисты» время от времени всплывают в памяти. Ни с того ни с сего.

Убиквисты — у, бисквиты! Рифма для авангардиста. А бисквит оказался черствый и был на этом рубинштейновском столе определенно лишним... Кто после водки с огурцом будет есть убиквист с изюмом?

Они подошли весело — могильщики. Или как в данном случае их называть? Случае установления памятников?

— Хозяйка, — сказал тот, кто знал лишние слова. — А буденовки, если хочешь, мы заберем...

Буденовками они называли зеленые усеченные пустотелые конусы со звездочками,

которые сияли с могил бабули и дедули. Сейчас они валялись на дороге, замшелые, повернутые к небу черной внутренней пустотой.

— Нет, — почему-то решительно сказала она. — Нет...

Они с удивлением посмотрели на нее: хорошее ведь было предложение — увезти металлолом и кинуть где-нибудь, чтоб не валялся под ногами.

— Я сама уберу, — вежливо так сказала. — Угощайтесь, пожалуйста!

— Ну, это не надо повторять, — засмеялись мужики.

Она оставила их на территории Рубинштейна. В своей ограде со свеженьких бетонных параллелепипедов на нее ясно смотрели дедуля и бабуля. И было здесь празднично, светло, и даже воробьи вспархивали интеллигентно.

«Родненькие мои, — сказала она им. — Это я, ваша внучка Лизонька. Правда же, так лучше?»

Конечно, это был глупый вопрос. Как может быть не лучше то, что стоит пятьдесят четыре рубля — это без работы, без того, что еще сверху, без закуски и выпивки, — того, чему красная цена рубля три, не больше. Собственно, истинной стоимости «буденовок» Лизонька не знала. Их уже не ставили даже беднякам из бедняков. Даже этим ставили теперь бетонную стелочку за семь рублей.

Дешевле — ничего. Конечно, возле похоронного бюро крутились жучки, предлагали кресты. Всякие — от мраморного до собранного из разных металлических трубочек. И была у Лизы идея, была: поставить кресты. Тем более что Лели уже нет, так что скандалить было бы некому, но она не решилась. Именно потому, что жучки. Почему-то хотелось законной линии. Справки, квитанции и печати, хотя, если разобраться — такая это чушь! Но представилось, что не она дедуле ставит памятник, а он — ей. Как бы было? Так бы и было — по правилам. Через кассу, через квитанции, чтоб было что предъявить при случае. Она сама хранит счета всей своей жизни — зачем, спрашивается? Кто их когда спросит? Неизвестно. Но квитанции, что она оплатила свое обучение в университете, а тогда за это платили, у нее есть. И много чего другого есть тоже. Теперь к непотребной куче всякой документации на оплаченное право жить, сидеть, стоять, ходить прибавятся и эти два памятника «бетонная плита с мраморной крошкой и портретом». И если явится некто с ломиком, чтоб устроить выковыривание, она тут как тут представит ему все бумажки и обоснования, и пошел-ка ты вон с ломиком. Ищи дураков! Поэтому и с буденовками нельзя поступить абы как. Взять и выбросить. Им надо найти правильное место, чтоб, как говорится, комар носа не подточил. Выбросить!

Как же можно выбросить то, что стояло столько лет и выполняло назначение? Нет, дорогие товарищи! Так дело не пойдет. Абы как она не может.

Что-то ласковое тронуло ее за плечи. Лиза понимала — ветер, он сегодня весь день такой, нежный и случайный, но так думать не хотелось. Хотелось думать, что услышана, что это *оттуда* дедуля признался, что все видит, а главное — одобряет ее.

— Значит, оставляете буденовки? — снова спросили мужики.

— Да, — ответила она. Господи, что я с ними буду делать?

— Ну, тогда убирай, хозяйка, а то еврей рассердится.

Она достала из сумки конверт, передала старшему, тот старательно пересчитал деньги, смял конверт и выбросил, а она, дура, специально его покупала, чтоб пристойней выглядело.

Конечно, бисквит остался нетронутым, и яички тоже. И колбасу не ели, и она успела за десять минут стать серого цвета. Лиза старательно убирала все, чтоб не осталось следов на чужой территории, старательно заперла калитку.

— Миленькие, я пойду? — виновато спросила у своих портретов. И снова показалось, что кто-то тронул ее за плечо, значит, разрешил. Иди, мол, с Богом!

В одной руке пакет с остатками еды, через плечо сумка, в другой — за две звездочки прихваченные «буденовки». «Мы красные кавалеристы, и про нас былинные. речистые ведут рассказ...» Что еще может прийти в голову, если держишь в руках звезду? Главное, куда я это дену? Куда я это несу? Вот дуры кусок, вот дуры кусок... Господи, прости меня, грешную, но куда это деть, куда?

Решила дойти до посадки и там прикопать «буденовки», никто бы только не застал ее за этим делом. Слава Богу, есть ножик; главное, чтоб звезду не было видно, нехорошо, если она будет торчать из земли. Стояла ведь столько времени ни в чем не виноватая.

Ну, что я за бестолочь такая, ну, куда я с этим иду, думала Лизонька, идя в посадку и ища кусты погуще и землю помягче.

А звездочки, заразы, кололись...

...Сейчас же они лежали в земле, ну, топырились, конечно, глубоко ли вроешься при помощи столового ножа? Сочащаяся из-под земли вода омыла ей руки. Искрил воздух. Неужели опять норовил слипнуться? Этого еще не хватало, бежать надо скорей отсюда, скорей, скорей, а то мне уже и чушь кажется, будто там за пригорочком человек стоит и смотрит, паразит, что это я в посадке делаю?

Ой, ой... Какой же это паразит? Это дедуля стоит, я с этими буденовками совсем спятила, своих не узнаю. Ишь! Азот с кислородом у меня слепился! У меня мозги слепились, у дуры, вот что...

Дедулечка! Ну, закопала я твои буденовки, закопала... На переплавку, что ли... лучше? Ну, не знаю я, что лучше... Не знаю... Не хватает у меня ума.

И не смотри на меня так, а то я заплачу. Не смотри...

2

Когда родилась Лизонька, Дмитрий Федорович ушел на пасеку, надел сетку, чтоб никто не видел, и заплакал. Он боялся Нюры, которая сказала бы: ой, посмотрите на дурака, люди добрые, рассопливился от радости! Ну, как ей скажешь, что плачет он не от радости, а от страха? Хоть караул кричи, а боится он смотреть на дытыну. Боится *увидеть*. Хотя сколько вот так в сетке можно просидеть на пасеке? Ну, час. От силы... Дальше уже подозрительно. И Ниночку нельзя обидеть, подумает, что дед не рад внучке, расстроится, бедняжечка, а у нее сейчас прямая зависимость молока от нервов. А, не дай Бог, не будет молока, чем кормить? Такой кругом голод, деревня криком

кричит. Значит, хватит прятаться, надо идти, смотреть деточку, и пусть ему пошлется небесное благословение ничего не увидать, кроме того, что видят все.

Девочка была сморщенная, красненькая, и носик дулечкой, губешку нижнюю под верхней не видать, а глазенки — крест святой — разумные-разумные и по сторонам смотрят. Ни-че-го больше! От счастья, что ничего больше, он выскочил на крыльцо и протянул руки вверх, и горлом вылетел из него крик радости и благодарности. Хорошо, что дом их был тогда последний на новой улице имени Котовского, последний из пяти новых жилкооповских домов, построенных назло всем врагам народа после знаменитого шахтинского дела. Прямо от их калитки начиналась дорога, что вела к железнодорожной пасленовой посадке, а за посадкой уже шло кладбище. Это к тому, что благодарственный крик Дмитрия Федоровича слышать никто не мог, это был крик, что называется, в чистое поле. И когда он уже прокричал и отпустили его страх и ужас, он *увидел*, как вдалеке, словно в дымке, напрямик к посадке с чем-то тяжелым в руках торопится какая-то чужая женщина... Странное дело, подумал он, откуда ж это она идет? С кладбища, что ли? Он козырьком приложил руку, чтоб не бликовало, а уже никого не

было...

Тоненько защемило в сердце, и пошел перед глазами фиолетовый круг, поплавился, поплавился и исчез...

«Может, цыганка? — подумал он. — Их тоже от голоду стало бродить больше... Как муравьи расплозились... Значит, за посадкой у них табор. Ждите теперь воровства. Вот когда плохо, что последний дом... Надо бы собаку.

Тут надо отступить назад, в то время, когда Дмитрий Федорович еще не был дедом, а был вполне бравым мужчиной с аккуратными усами под носом и в пенсне. Этим он от всех отличался в их шахтерском поселке, который частично вырос из деревни, а частично возник благодаря новым шахтам. Усами и пенсне Дмитрий Федорович определил свое место в союзе города и деревни. Он — городской. Кто это из деревни носил пенсне и тем более выбривал себе под носом черный квадратик, который потом, впоследствии навсегда опозорил себя, будучи прилепленным на лице людей не просто противных, вроде Молотова, а законченных гадов и палачей, как Гитлер. Ни один из уважающих себя мужчин после этих последних таким макаром уже не побреется и правильно сделает. Просто противно ему будет, и все. А тогда, когда Дмитрий, даже еще не Федорович, а просто Дмитрий, а для некоторых Митя, Митеха и даже

грубо — Митяй, надел на люстриновые рукава пиджака сатиновые нарукавники и откинул косточки счетов слева направо, тогда закрепить это положение за казенным столом бухгалтерии шахтоуправления надо было чем-то очень убедительным. Это были усики и, извиняюсь, пенсне. Ну, сейчас бы сказали просто и ясно: пижон. Но тогда такого слова никто не знал, во всяком случае в их полудеревенских краях. Там сказали иначе: ставит из себя.

Так вот, он пренебрег осуждением примитивного народа и продолжал «ставить из себя», и, как это бывает, все пошло от внешнего к внутреннему. К такому его облику все привыкли, как-то естественно стало называть Митьку Дмитрием Федоровичем, тем более что со всех других сторон он был человек — не подкопаешься. И не сбросит, и деньги одолжит, если что, и с начальством гордый, и с уборщицей первый «здравствуйте вам». Так что жил да был выделяющийся усиками и пенсне вполне хороший человек, что лишний раз доказывает первичность внутренней сути над внешней формой. Одним словом, как бы уже теперь сказали, был бы человек хороший, а там он пусть хоть что носит. Хоть монокль или там пластрон. Хотя как это можно носить в советское время? Взять, к примеру, пластрон... Нет, не будем его брать... Черт с ним.

Это нас уведет не в ту сторону, нам сейчас из шахтерского поселка и от Дмитрия Федоровича нельзя ни на шаг, если мы хотим что-то понять во всей этой истории.

Значит, так. Живут бухгалтер Дмитрий Федорович Рудный, его жена Нюра и их дети — Ниночка, Колюня и Леля. Живут себе, как все, довольно нище, но, слава Богу, Нюра без фокусов, держит корову — уже легче, десяток кур, поросенок... То да се с земли, с огородика. В смысле одежды, конечно, едва-едва, но тогда люди были оборотистые и умели лицевать вещи, по много раз чинили обувь, носили галоши, так что не хуже других жили, но и не лучше.

Когда дети стали подрастать, стали думать, а чем они будут заниматься, к какому делу их приспособить? Нюра — простой человек: как будет — так и будет, разве ее жизнь кто планировал? А Дмитрий Федорович думал о будущем серьезно. Он исходил из чего: если произошла революция и это, судя по большой крови, надолго, то надо бы детям получить образование получше, чтоб двигаться с передовыми эшелонами. Короче, никакого другого поворота в его мозгу не произошло: надо детей учить. И он — Дмитрия Федоровича имею в виду — свернул себе на этих мыслях мозги. Во всяком случае, стал он плохо спать, а в бессоннице стала ему видеться муть — например, бабушка в

нехорошем виде. Стоит она будто в огороде, пальцами оттопырила юбку и мочится стоя. И хохочет при этом. Тут все — брехня и обида. Бабушка его такая гордячка была, такая была неприступная и чистоплотная старуха, что вообразить ее в такой позе было просто стыдно. И хохота ее — ядовитого, с подковыркой в самой интонации — он тоже сроду не слышал. Она не то что не смеялась — не улыбалась даже. Она считала это ниже своего достоинства.

Виделись ему и другие люди — странно виделись, как бы не в себе. Он тогда даже заварил себе смородиновый лист, но его сильно пронесло, что очень удивило Нюру. Она в смородину верила как в средство от всех болезней. Ну, ладно... Эти все видения Дмитрий Федорович сам для себя называл «оце така мара», потому что как-то это определить надо? Искал определения у Гоголя, у того всему можно найти определения. Но Гоголь только распалил воображение, а объяснения не дал. Однажды такое привиделось, что как ошпаренный выскочил из кровати и кинулся бежать по улице в исподнем. Нюра криком зашла, пока его догнала, и вернула. Он ей сказал: плохой сон. Вроде дети умерли, а она радостно так: вот, мол, дурачок, это ж для детей — лучший сон, это ж значит — жить им и жить. «Я прямо радуюсь, когда во сне хороню. Это ж к счастью, Митя, гробы там, покойники... А еще

к перемене погоды...»

Вроде успокоился. Но когда в следующий раз уже не во сне, а когда он сидел на работе и сводил балансый отчет, и на него накатило, он понял — это не сон. Это *знание*. Он теперь знает, как будут умирать его дети. А через какое-то время возьми и родись Танечка. Он ее категорически не хотел, потому как три видения ему уже были. Именно до Танечки он стал погуливать на стороне, чтоб уберечь жену от новой беременности. Погуливал тихонько, осторожно, ровно столько, чтоб не мучаться телом. Но спрятаться в их поселке ему не удалось. Нюра, простой человек, не знала другого способа привязать мужа крепче, как родить Танечку, то есть поступила именно так, как он больше всего боялся. Он тогда взял запеленутый кулечек в руки, в нем девочка-младенец, вся-вся голубенькая от мертвой крови, в бумажных кружавчиках вокруг личика. Он тогда чуть криком не закричал. Девочка же хлюпнула носиком — Господи, живая. И он стал трястись, просто трястись за ее жизнь. Выражалось это странно — в слезах. Все на них тянуло. У Нюры же свои размышления: грешила на «ту лярву». Даже устроила слезку по всем правилам частного сыска, но факты не подтвердились, Нюра совсем запуталась в собственных мыслях и чувствах. Танечка же возьми и умри. Тут уж не до лярв, такое

горе, и именно тогда он тоже решил умереть.

Уже несколько лет он жил со знанием смерти троих своих детей, а смерть четвертой, Танечки, подтвердила, что знание — верное. Он понял — не может жить, не может. Выше его сил. Получалось ведь, что он кормит их, поит, ласкает для их страшного конца. Как же можно после этого, жить, Господи?

В летней кухне он присмотрел потолочную балку, которая должна была выдержать вес его умершего тела, перекинул через нее веревку, приглядел чурбачок, на котором любил сидеть, растапливая печку. Встал на него, примерился. Получалось, смешно сказать, удобно. Напоследок на приготовленном для последнего стояния месте решил покурить на прощание. Тут и пришел к нему Колюня, сынок. Сел рядом, ножичком строгал себе для игры цурку и чиркнул неосторожно по пальцу. То да се: йод, белая тряпочка, ах ты, бестолочь такая, ножик держать не умеешь. Да куда ты смотришь, мать, острое у тебя всюду валяется. Забыл и про веревку, и балку, и чурбачок. Вспомнил только вечером и очень удивился, что забыл о желании своей смерти. Как же можно было такое забыть? Но факт оставался фактом — забыл. Носился как угорелый с порезанным пальцем Колюни, и все другие мысли прочь.

В летней кухне на балке болталась веревка и

стоймя стоял чурбачок. Он тогда поднялся ночью с постели, а Нюра тут же схватилась, захлопала глазами. С той истории с лярвой Нюра была исключительно бдительна и даже, когда он выходил ночью в уборную, не спала, ждала, даже считала минуты. Дело в том, что лярва жила недалеко, и с нее станется прибежать к нему ночью. Так думала Нюра.

Он стащил с балки веревку, бросил ее в угол сарая, а потом даже присыпал углем, что уже было несколько глуповато. Но что такое эта глупость по сравнению с той, что он останется теперь жить, а значит, и готовить детей для трудного конца? А умри, к примеру, — тьфу, тьфу, тьфу, конечно, — Колюня сегодня от заражения, то была бы легкая детская смерть по сравнению с той, что его ждала. Обсудить, обговорить случившееся ему казалось очень важным, и это можно было сделать только с одним человеком. В Дружковке жил старший брат, умница, профреволюционер, с ним бы сесть и покалякать, но до Дружковки шестьдесят километров, а лошади у него сроду не было. Поезд же тогда еще не ходил. Ломиком только-только тюкали узкоколейку. Можно, конечно, было сходить и к попу. Но тут были особые отягчающие обстоятельства. Так как он за неимением других вариантов решил принять советскую власть, вместе с ней пришлось принять и обязательный атеизм.

Поэтому, хотя поп и жил на соседней улице, Дмитрий Федорович, не любивший моральных неудобств, решил лучше дожидаться брата. Или железная дорога, или какая-нибудь лошадка должны были возникнуть. И как в воду глядел: приехал из Дружковки брат.

Кинулись друг к другу.

— Митя! Митя!

— Никифор! Никифор!

Поздно вечером, когда уже отужинали и выпили графинчик настоянной на перце водочки, когда любимый дядя Никифор сыграл с Колюней в победу красных над белыми, а старшей Ниночке рассказал, что такое синематограф и интернационал, с Лелей попел песню «Гай, гай, гаю, гай веселенький!», они вышли посидеть на лавочке, и он, Дмитрий, рассказал Никифору об этом «странном обстоятельстве своего мозга». Все на словах выглядело глупо и неубедительно.

— С чего ты взял, что старуха, которая умрет на голом полу, твоя Нинка? — резонно спросил Никифор. — Объясни мне, дураку, это материалистически. Ты когда-нибудь видел Нинку старухой? Дмитрий, я тебя спрашиваю.

— Конечно, не видел, — виновато отвечал он брату. — Скажешь тоже... Но вот знаю, и все!

— Не разговор! — отрубил Никифор. — Человек знает только то, что знает. Больше — нет!

— Но про Танечку я знал точно! — убеждал он Никифора. — Глазами все видел. Бумажные такие цветы. У нас их женщина одна вырезает для такого именно дела.

— Младенцы умирают часто, у нас еще не коммунизм, — как отрезал брат.

— Я видел, — тихо твердил Дмитрий.

— Вообразил на основании имеющихся материалистических данных, — Никифор уже начинал заводиться. — Ты, Дмитрий, ударяешься в мистику, а это — дело последнее... Может, у тебя и с богом остались отношения?

— Не... Не остались. Я даже крест нательный выбросил, — отвечал Митя. — Но душа болит очень. Прямо аж мутит...

— Что болит? — спросил Никифор. — Повтори!

— Души, конечно, нет, это я так сказал, по-старому. Но сердце есть? Оно, значит, болит! В этом месте...

— Лечись! Ты видел в своем воображении каких-то умирающих старух, ну и что? Почему это тебя должно волновать?

— Так мучались девочки, так мучались... А Колюню вообще забили сапогами...

— Вот это и есть полное доказательство твоей дури. Забить сапогами? Так в двадцатом веке не умирают. Пуля... Бомба... Разрыв сердца...

Подумай!

— Все так! — Митя совсем пожух от разговора. Легче не стало, а стало как-то бессмысленней... — Хотя почему бы и нет? Мало ли бандитов?

— Много, — согласился Никифор. — Но с этим ведется борьба. И ты в нее активно включайся. Обстановку надо оздоравливать. Ты неправильно живешь, брат. Мещански... Эти твои настоянные водки и мягкие подушки. Не понимаю... Ты не устаешь, не валишься с ног... Ты включайся в жизнь не двумя пальцами на счетах, а полностью, без остатка и будешь спать как убитый. Без дурацких видений.

Митя хотел сказать, что страшное знание приходит к нему в самую бодрость и среди бела дня, но он решил — тема исчерпана. Он рассказал, Никифор не принял это всерьез, значит, один из них прав, другой — нет. Все-таки стало немножко легче, потому что теперь вероятность «его правды» была равна пятидесяти процентам. Уже лучше.

Перешли на другие темы. Никифор мучался тогда с принятием в душу нэпа, его просто корежило от новой политики, но он свято верил Ленину, а значит, надо было сомнение души это перелопатить в положительное действие, потому что смешно думать, что ошибается Ленин! Пока же он страдал и сильно худел, что очень беспокоило

Дмитрия, так и чахотку можно схватить, если работать, страдать и не питаться разумно, а по холостяцкой жизни.

— Ты женись! — говорил Митя. — В этом есть смысл хотя бы для питания.

Никифор смеялся.

— А потом пойдут дети, и начнет являться всякая чушь, как тебе. Нет уж! Свобода — это осознанная необходимость!

Уезжал он рано утром, все еще спали. Митя встал его проводить, Нюра привычно бдительно подняла голову, но, поняв, в чем дело, успокоилась. Можно было еще понежиться часок.

Никифор после сна был как-то особенно худ и мрачен, что совсем расстроило Дмитрия. Не дело, не дело... В чем только душа держится, если тела — нуль?

— Ну, ладно, — сказал Никифор. — Я тронулся. Ты живи правильно, Дмитрий. Уставай.

Он развернулся к лошади, цокнул языком, и затрусил линейка, затрусил по кочкам и пыли.

Еще не успела она свернуть за угол, как Митя увидел: валится Никифор набок, а потом и вовсе падает наземь. Закричал не своим голосом Митя, кинулся вслед...

— Ты чего? — испуганно спросил Никифор, придерживая лошадку.

— Чего ж мы тебе варенья не дали? —

придумал с ходу глупость Дмитрий, потому что надо было что-то сказать. — Наварили — девать некуда.

— Ё-мое! — сердито крикнул Никифор и шуганул призадумавшуюся лошаденку. — Ты еще мармеладу мне предложи!

Теперь Митя знал, как умрет брат. Он видел, как на его спине растеклось широкое, черное на восходящем солнце пятно. Тут надо сказать, что видения Мити были безгласные и бесшумные. Он только видел, но не слышал. В этом была некая трудность, потому что он, например, не знал, кого зовут умирающие дочери, и что они шепчут в свой последний момент, и какие слова кричит убиваемый ногами Колюня. И откуда был выстрел в Никифора, он не знал. С какой стороны света... Вот беда так беда. А ты, брат, говоришь — мистика... Пятно-то было липкое, липкое...

Нюра лежала высоко на подушках, розовая, чуть опухшая от сна, и улыбалась.

— Такой сейчас сон хороший видела. Будто волос расчесываю густой, густой, это к деньгам, Митя. А тут входит Ниночка и — не поверишь — вся, вся, извини, в говне, с головы до ног... Это тоже замечательно, Митя, к большому Ниночкиному богатству. Ой, как я люблю хорошие сны! После них так легко делается, так легко!

Нюра аж жмурилась от удовольствия.

— Учиться ей надо хорошо, а она ленится, — ответил Митя, удивляясь и потрясаясь человеческой природе. Кто им это все показывает, кто?.. Сны? Что это все есть?

Три дня он ходил сам не свой — мысленно хоронил брата. Все сокрушался — а костюм у него смертный найдется, чтоб не стыдно было положить? Все-таки Никифор — человек непростой, революционер с девятьсот пятого года. Обувь тоже должна быть правильной. Сообразят хоронить в старом, а то еще и в сапогах. А туда надо в чистой обувке. В тапочках. Вот так размышляя, он навсегда распрощался с братом и даже успокоился. Поэтому Нюра через год очень удивилась, когда он задумчиво сказал:

— Могли б сообщить, где заховали. Большевики называется!

— Кого? — спросила Нюра.

— Да я все про Никифора.

— Митя! — закричала она. — Чего ж я про это не знаю?

Тут уже растерялся Митя. От своих слов как отопрешься, а двумя смыслами их не перетолкуешь...

— У меня есть опасение, — осторожно сказал он. — Давно не объявлялся.

Нюра замахнулась на него.

— Тьфу на тебя, тьфу! Ты накаркаешь, идиот,

разве ж такое можно вслух!

А Никифор через какое-то время возьми и приедь. На той самой лошадке, такой же худой, вроде вчера был... Ниночка уже семилетку должна была кончать, но осталась на второй год, потому что все интересы лежали у нее в другом, чем школа, направлении. Ваня Сумской, футболист и красавец, водил ее пару раз в чистое поле за терриконы, и приходила она оттуда в мятой и перекошенной юбке, в результате чего Колюня, младше ее на полтора года, по учебным классам ее догнал. Ниночка расстроилась, напилась каких-то таблеток. Нюра просто спятила от страха, а Дмитрий Федорович как раз был абсолютно спокоен. Знал, не умрет Нинка. Поэтому отношения к дочери не смягчил и всыпал ей как следует и за Сумского, и за отставание в учебе, и за таблетки. Ишь, распустилась дура! Какой пример Лелечке, которая в школу только-только собирается. Правда, она, умница, сказала ему:

— Я, папуся, буду учиться хорошо, меня никто не догонит!

Так оно и было всю жизнь.

В этот трудный для семьи момент и возник Никифор.

— Что ты на меня смотришь, будто я с того света явился? — спросил он.

Митя тогда собрал все свои растроченные в

воспитании детей силы и ответил:

— Посмотришь тут и не так...

Рассказал про неприятности с Ниной, Никифор взялся поговорить с девочкой, брату же попенял:

— Это результат вашего мещанства в семье. Результат отсутствия цели. Вы с Нюрой — люди без полета, а наше время требует труда и крыльев. Надо Нине идти на производство, рабочая среда свое дело сделает. Или в сельское хозяйство. Начинается коллективизация, Митя, новый замечательный и заключительный этап революции. Кончились поблажки и отступления. Теперь прямая, и вперед.

Никифор был в этот момент даже красив своим вдохновением. Прошлый раз худоба и чернота заставляли думать, что и ест он плохо, и живет без пригляда, сейчас же на ум приходило другое: ничего ему такого и не надо, потому как счастлив он не куском хлеба, не новым пиджаком, а внутренним счастьем, что и есть главное. Так что сначала Дмитрий едва признал его как пришедшего от покойников, а потом подумал: эти худые и черные — они куда живучей и всех полных и розовых переживут.

Потом он снова провожал Никифора ранним утром, на этот раз уехал тот спокойно, от выстрела в спину набок не заваливался.

Пока Дмитрий шел в дом, он твердо решил: может, Ниночка и не лучшая дочь, а вот ломать ее жизнь через колено он не позволит... И не отдаст он ее ни на производство, ни в новую колхозную жизнь, это неправильно — девочек на тяжелые работы. В корне! У Никифора нет своих детей, поэтому он чужими так разбросался. Хотя какие ж они ему чужие? Племянники! Родней родных, тем более, если своих нет! Но чего ждать от человека, который свою жизнь под ноги любой революционной идее бросит? Чужую жизнь тем более бросит! Может, в этом все дело? Раскидался, чернявый, раскидался! Моих детей не трожь... Как-нибудь сам дотумкаю... Ниночка, хоть и с опозданием, а кончит семилетку, пойдет в контору. Им нужны делопроизводители, а она девочка грамотная, почерк у нее вообще каллиграфический. Для женского пола немало. А Колюню бы хорошо учить дальше, на инженера, он смекалистый, задачки у него от зубов отлетают... Про Лелю еще рано говорить, что там получится. Как она ему сказала: «Меня, папуся, никто не догонит!» Что же касается коллективизации, то, на его взгляд, это новое дело — дело темное. За одной кобылой всем козлом?.. Что-то тут не так... Он не сторонник... Его отец был крестьянин, из бедняков бедняк всю жизнь, но скажи ему «объединяйся!», он же бы тебя двинул! Он как говорил: «Всем чтоб одинаково —

дурь. Это нарушение законов природы. Природе нужны все. И богатые, и бедные... И хищник, и клоп, и райская птица. Все нужны в целом».

Это он Никифору говорил еще в девятьсот пятом, когда тот только-только отравился революцией. Никифор из дома ушел, а он, Дмитрий, отцу поверил, хотя и было сомнение: сам отец боролся в хате с клопами, а по его логике — пусть бы жрали? Но ведь нельзя понимать буквально... Отца уже нет, и матери нет... Не проверишь, как бы отец воспринял коллективизацию... Для таких, как он, затея... В конце концов, что такое прогресс? Это стремление сделать так, чтоб бедным стало лучше. Разве это плохо? Разве это не по-божески? Значит... А ничего не значит! Не его это ума дело. У него на руках трое детей. Их надо вырастить и на ноги поставить. А бросать в трудности, чтоб крепче были, — на это у него одно отрицание. Вот и все! Если кто спросит, он так и скажет: на это у меня отрицание.

Явление живого Никифора затмило то видение, которое было с липкой кровью. Пришла даже странная мысль: атеистическое и революционное изничтожало неясное и ирреальное не по отдельности, а по сути... То, чего не могло быть, того и не могло быть. Не может человек знать свое будущее, а тем более — чужое. Значит, и думать об том нечего.

Тем более что такое началось, что о постороннем не то что не думалось, постороннее просто в голове не помещалось. Раскулачили Нюриного отца, а он только-только из нищеты выбился. Два года как стал жить как человек. Детям, младшим за Нюрой, сделал пристройки к дому, «на будущую жизнь» говорил. Жене молодой купил комод цвета «бордо-бордо с медью», а себе — о! себе! — он сделал настоящий мужской подарок — двуколку. Чтоб в Бахмут ездить. Выезд был, конечно, излишеством. Но в Нюрином отце всегда было это желание — «сделать людям в нос». Вот, мол, гляньте, как я на коняке, как царь, еду. Вполне можно было и без нее. У других же не было. Эти два колеса на его двуколке по кличке «Беда» сделали свое дело... Ведь что-что, а независтливым наш народ не назовешь... Никак...

Дмитрий это качество Нюриного отца — «поперуду танцовать» — осуждал. Ну, вылез? Или, вернее, выехал старый дурак? А дальше? Я корми твоих детей? Дело в том, что мать Нюрина умерла давно, отец женился во второй раз, и было у него ко времени двуколки трое детей, девочки-близнецы, ровесницы Ниночки, и сын Евдоким, Дуся, ровесник Колюни. Нюрина мачеха была женщиной красивой, но за ней наблюдалось два греха — легкий алкоголизм и такая же нетяжелая вористость. Бывая в гостях, Григорьевна никогда не

уходила оттуда с пустыми руками, ну, там ложечка, ну, шматочек сала, что тихо лежал на подоконнике, приготовленный для борща, или ситцевый платочек, который хозяйка с себя скинула, простирнула в одной воде и на веревку, на свежий ветер, а сама даже другой не надела, ждала, пока этот протряхнет, слово за слово, а платочка нету. Григорьевна, оказывается, заходила за солью, на минуту во двор вступила, а где он теперь, тот платочек, что был на веревочке?

— Григорьевна, ты случаем не бачила?

— Бачила. Высив. — Глаза у Григорьевны круглые, цвета чудного — от серо-зеленого тусклого до чистейшего салатного, яркого. Так вот, брешет Григорьевна с яркими салатными глазами.

Когда отца Нюриноного увозили, Григорьевна с детьми на соседнем хуторе спряталась, вернулась в разоренный двор, повыла, поорала и дала знать Нюре, что на нее, старшую дочь, одна надежда. Нюра сказала: «Вот наглая сука. Комоды ей были нужны и фаэтоны». Но, тем не менее, Дмитрий в деревню пошел. Теперь там были слезы пополам с разрухой, хаты раскрыты, пацаны заглядывают людям в окна, это Дмитрия особенно поразило. Кто ж это позволил такие подглядки? Как можно? И никто не остановит детей, вроде так и надо, и можно. Решено было забрать насовсем брата Дуську, а женская часть пусть сама по себе

выкарабкивается. Уже по дороге — пешком шли, недалеко, километров восемь — обнаружил Дмитрий, что пропал у него бумажник. Денег в нем было меньше рубля, а бумажник сам по себе хороший, кожаный.

— От, черт! — ругнулся Дмитрий и посмотрел назад. Деревня уже вся за пригорком осела, неужели ж поворачивать? А как он докажет? Еще такого случая, чтоб Григорьевну за черным делом застали, не было, всегда кидались люди, когда ее и след простыл, а глаза ее салатные смотрели так чисто, что ничего не оставалось, как ей же, воровке, говорить:

— Проклятая цыганва! Опять, небось, проходила мимо.

— Проходила! Проходила! — Салатные глаза глядели так прямо, так ярко, что приходилось свои опускать и назад идти, будь ты проклята, Григорьевна, чего тебе не хватает? Вон выезд тебе мужик наладил, сидишь в двуколке широким задом, как какая-нибудь губернаторша! Плюнул Дмитрий на кошелек и пошел дальше, даже на Дуську не обиделся. При чем мальчонка, если у него мать такая негожая? Пусть живет. Где трое, там и четверо.

Но оказалось, что слова эти для хорошей жизни, а не для той, что подкрадывалась. Когда в тридцать третьем обрушился мор, то Дуся, конечно

же, был, лишним. Тем более что Ниночка уже вышла замуж и родила Лизу, и надо было делать выбор, свой или чужой.

Он так и сказал Нюре:

— Надо делать выбор.

Дуську вернули матери, которая устроилась к тому времени вполне по-своему, даже хорошо. Она гадала людям. Толпой к ней шли со всех мест. Полная неясность жизни заставляла к ней кидаться с проклятым вопросом: «Дальше-то, дальше что с нами будет?»

Замечательная гадалка была Григорьевна. Она не то чтобы обманывала, она щедро, всем поголовно предрекала беду. Беда в ее предсказании была не просто большой, она была прямо-таки вселенской. Но людям, как ни странно, такая беда нравилась больше. Ее принимали легче. Даже радостно. Григорьевна, к примеру, обещала: готовься, голубок, к смерти, на колеснице она к тебе идет от самой далекой звезды, а человека всего ничего — посадили. Это плюс или минус? Тебе нагадали потерю всего, а у тебя только корову забрали. Это как?

— Брехуха, брехуха! — говорили люди, радуясь, что жизнь обвесила их в беде на целых там сколько-то граммов... Или чем измеряется горе?

Дуська был ей ни к чему, потому что был он мужского племени, хоть и звался, можно сказать,

женским именем. У нее с дочками-близняшками был свой уговор, своя тайная вечеря, можно сказать. Дочки ей помогали. Они втроем играли в ведьминство красиво, истово, и такого, что нет у них молока или хлеба, даже в самые страшные дни не было. Мог ли им пригодиться лохматый мальчишка с босыми, неделями не мытыми ногами?

Григорьевна вернула Дуську назад с обязательством давать что-то на его пропитание. Так вот они все выжили тогда благодаря этой чертовой брехухе и ведьме с салатными глазами, ее помощь плюс деньги, полученные за обручальные кольца в торгсине Бахмута, помогли не дойти до водяной опухлости. Получалось, что от этой треклятой воровки и гадалки была в их жизни выгода. Хотя, конечно, что там говорить, Дуська подарком не был.

А потом пришло время, когда Колюня и Дуська уже учились на рабфаке, и думалось, что надо бы и — дальше их учить — смекалистые были хлопцы. Дальше — это большие города, это надо сообразить, какой, лучше — Ростов или Харьков. Или уж замахнуться сразу на Москву? Тогда и пришел на ум Никифор. Вот с кем надо посоветоваться.

Уже начал ходить в Дружковку рабочий поезд. Уже не было лошадиной зависимости в передвижении. Дмитрий приехал в Дружковку под

вечер, шел по улице, на которой сам когда-то рос, и умилялся, как оно все стало мелковато, вроде бы улица стала какой-то короткой и приземистой, и домишки все жались к земле, как побитые, и штaketник вокруг них шел такой весь серый и редкий, а посередке двора обязательно жухла сирень, и желтый цвет ноготков шибал в нос и сердце. «Неужели уже старый? — думал про себя Дмитрий. — Сколько ж это мне? Сорок семь лет всего, немного, конечно, но уже и немало. Никифору пятьдесят скоро. Пятьдесят, это ж надо!» Так, в мыслях о возрасте и старости, дошел до родительского дома, где жил Никифор. «Бедолага ты, бедолага, — подумал, увидев дом, — совсем ты вгруз в землю, оконца на земле, считай, лежат». Во дворе крутилась босая баба, что-то дергала в огороде. Неужели, подумал Дмитрий, неужели Никифор обзавелся женщиной? Совсем незнакомый мужик сидел, как у себя дома, на пороге хаты и курил самокрутку.

Странное дело, подумал Дмитрий, это что за люди?

Он снял белую полотняную фуражку, поздоровался.

— Мне, знаете, Никифора...

— Кого? — спросила босая баба. — Это кто же такой будет?

Они не знали Никифора и жили в этом доме

уже четвертый год.

Стали кричать соседям, те подошли к забору, все народ незнакомый, новый. Вербованные, подумал Дмитрий Федорович. И сразу через это и вспомнилась его мара. Так, может, уже нету Никифора на этом белом свете?

Дмитрий озирался вокруг с ощущением жалкой безвыходности. Улица налево, улица направо, уходи куда хочешь, садись на паровоз, дуй себе домой, а одновременно казалось, что выйти некуда: застрял, как в горлышке бутылки.

Но все-таки не бывает, чтоб старых людей не осталось совсем. Оказалось, были на этой улице и те, что помнили даже его, Дмитрия. Старик один с деревянной ногой помнил, и сестра его помнила, и еще одна семья, что поставила хату на самом краю, над балкой, будто не люди они, а птицы в скворечне. «Плохая семья, — говорил еще его отец, — плохая, потому как без понятия. Явились с мешками-оклунками неизвестно откуда. Только цыган такой вид и такое появление может позволить, всякая другая нация едет на новое место на подводе, в крайнем случае, на тачке. Иначе стыдно».

Вот они-то, которые без корней, до сих пор тут и жили. Они и сказали Дмитрию:

— Да ты что, мужик? Его уже, считай, лет пять на этом свете нет! Его ж из ружья стрельнули

прямо в спину наповал, когда такое началось...

Разве он этого не знал?

Заночевать пришлось у этих же людей. Хата уже совсем обвисла над балкой, так и думаешь: вот-вот рухнет. Даже страшно глазу делается. Я, мол, смотрю, а взгляд — какая-никакая сила. Полетит от него все к чертовой матери.

— Хорошо, если сразу погибнете, а если покалечитесь? — Дмитрий это сказал потому, что, входя в хату, прежде всего сам об этом подумал: ну, ладно, если сразу сильно по голове, а если поломаю руки-ноги, как потом жить?

— Да хватит на наш век, — сказал дед, — а эти все равно тут не задержатся. — Он кивнул на внуков, которые во дворе разматывали «змея».

В хате, как ни странно, ощущения беды не было. Изнутри она казалась вполне прочной, а вид на балку был даже красивый. Лежала она внизу зеленая, буйная, бежала, змеилась по дну серебряная речка, ну, прямо картина в раме. Загляделся Дмитрий, а потом отпрянул: круча ж под ним, круча!

— Да чего ты боишься? — засмеялся дед. — Я ж тебе по-русски объяснил. Дом опосля рухнет. Опосля нас...

— Откуда вы знаете? — спросил Дмитрий. — Тут же может случиться нарушение центра тяжести.

— Про центр мне неизвестно, — ответил дед. — А что человеческая жизнь от первого крика до последнего там, где надо, записана, это раньше люди знали и понимали.

— Вы верите в это? — У Дмитрия заколотилось сердце. А Никифор ругался, когда он ему про это же сказал.

— Потому что не верим, так и живем, — ответил дед.

Его хорошо накормили и борщом, и оладьями, и спать положили не к опасной стенке, что было приятно. Уважили его сомнения. Лежал и думал: вот, значит, и нету Никифора, не с кем советоваться теперь в жизни. Хотя какой он был советчик? Девочку рекомендовал на тяжелые работы. Но больше всего Дмитрия Федоровича беспокоило то, что он вроде и не переживает горя. Получалось не по-людски... Лежит себе в дурной хате, от смерти брата не плачет, хорошо поел, вокруг него деревня вся чужая, с «кацапским» разговором. Старик сказал: «жизнь записана». Вот от этого он и не плачет. От этого... Потому он давно все знал и после первой той «мары» Никифора и похоронил. И — оказывается — не имело значения то, что потом Никифор приезжал живой и они с ним и ели, и пили. Все это было неважно. Его душа уже тогда приняла смерть брата, а сейчас и принимать нечего.

Главная же мысль была о Колюне, хотя и

через Никифора. Ведь как могло быть? Скажи он Никифору в свое, конечно, время: «Ты, брат, в эти партийные дела не встревай, ты от них держись подальше, у нас на шахтах и счетоводы нужны, и маркшейдеры, а есть еще хорошая профессия — техника безопасности, при твоей въедливости — самое то. Крепь проверить, наличие в штреке метана, личное обеспечение забойщика». Но он никогда не умел говорить с братом на равных, а сказать-то надо было всего ничего, простую мысль — так ли уж он один — один путь? Это и тебе, уже покойнику, вопрос, и мне, слава богу, живому, едущему на «кукушке» и полной грудью вдыхающему дым от паровоза. Всегда есть два-три варианта жизни. Это я думаю уже о Колюне. О его будущем. Ты бы меня не стал слушать, а он не посмеет не послушать. Улавливаешь? Поэтому! Поэтому и у Колюни не может быть так, чтобы сапоги в морду — и больше ничего. Тут и думать нечего: надо Колюню отправлять учиться. И Дуську отправлять надо. И хорошо бы не вместе, а порознь, потому что они друг от друга запаливаются и могут всякое сделать. Черти, а не хлопцы. Но головастые, это тоже не отнимешь. Ум в человеке — сильная вещь, но к нему хорошо бы приделать и направление. Иначе все может уйти в трубу. Чего-чего в хлопцах много — так это дурной силы. Им в трубу даже интересней, им ничего не надо, как

именно в трубу. Дмитрий Федорович стал наливать гневом и страстью, что просто сразу — раз-раз! — а отправит хлопцев одного на север, а другого на юг... Чтоб в плохом деле не спелись, паразиты, и не вызвали к жизни чьи-то там сапоги.

Хорошо стало на душе Дмитрия Федоровича, когда он возвращался на «кукушке». Просто хорошо... А Никифор... Что Никифор? Он умер еще раньше, чем умер... Господи, прости мя грешного... Вот я от тебя, Господи, отступился, а ты мне все к слову вроде как подворачиваешься... Отправлю хлопчиков, задумаюсь над этим. Почему так тянет сказать: Господи, Боже мой или там Матерь Божия, заступница усердная?..

3

Нюра стояла во дворе, держа в подоле собранные в огороде помидоры. Он еще с конца улицы увидел задранную юбку, открытые голые колени и почувствовал во рту кислую противность. Неприязнь всегда начиналась у него кислятиной во рту. Нюра стояла и ждала его приближения, топырились в подоле крупные помидоры — хорошие семена достали в этом сезоне, каждая помидорина выростала мясистой, сладкой, в прошлом же году им не повезло — уродились твердые, мелкие, надкусишь — вода-водой. Хотя

надо честно сказать: в засоле эти были лучше не надо.

— Дуська, гад, в допре сидит, — сказала Нюра. — Это Уханев, сволочь, его туда запроторил.

Дмитрий Федорович почувствовал, как ворохнулось сердце. Вроде бы как шмыгнуло под мышку. И это не от допра, не от Дуськи — от Уханева. Новый начальник энкаведе появился у них недавно. Как раз в ту историю, когда голяком разделся Петр Семенович Цыпин, их младший бухгалтер. Дело было в субботу, составляли полугодовой отчет, июнь, жарко. Открыли окна, чтоб сквозило. Ветер поддувал бумаги, их закрепляли стаканами, пресс-папье, даже камнями, не с улицы, конечно, а теми, что лежали в столах для хозяйственной нужды, ну, гвоздь забить в ботинке или орех расколоть, или присобачить к стене какое объявление. Петр Семенович сидел прямо у окна и вдруг как бы задумался. Замер. Дмитрий Федорович не любил всякого замиранья в процессе отчета. Он негромко так, но настойчиво постучал по столу счетами — бряк-бряк. И тут Петр Семенович повернул к нему лицо — светлое, светлое, даже как-то нехорошо светлое, будто светлость не радостный признак жизни, а признак совсем никудышный и даже этой своей светлостью страшный. Потому что Дмитрию Федоровичу вдруг ни с того ни с сего пришло на ум: ах, вот почему к

стоящему выше тебя обращались «ваша светлость». Из страха... Но какой же Петр Семенович вышестоящий, если он как раз нижестоящий? Ну, в общем, такая пошла дичь, что пришлось сказать в повышенном тоне: «У нас, между прочим, отчет, а не каникулярное время, чтоб пялиться в окно». Петр же Семенович так улыбнулся в ответ, опять же светло улыбнулся, качнул головой, да, мол, понимаю, о чем вы, и тут же стал раздеваться. Что это было, Дмитрий Федорович так до сих пор и не понял: он, и счетовод Дружников, и кассирша Оксана Гавриловна, и машинистка Варя сидели как заколдованные, а Петр Семенович снимал с себя все. Вплоть! И все кучкой складывал в угол, будто для стирки — галстук в полоску и ботинки кожмитовые, фиолетовую майку, черные сатиновые трусы и диагональные брюки. А потом остался на фоне открытого окна с этой своей странной светлой улыбкой, и был он весь белый, и почему-то в голости своей не стыдный.

Вот так за пять минут был человек — и не стало. То есть, конечно, был, существовал, но одновременно и отсутствовал, и не был. На глазах Дмитрия Федоровича и его подчиненных совершился «переход». Куда? Думалось же вот о чем: Петр Семенович удивительно по-бухгалтерски обошелся с вещами, хотя и бросил в угол. И чего здесь было больше — уверенности, что *там* ему

надо предстать, так сказать, в натуральном виде, или печали, что жену, которой он больше не будет приносить зарплату, надо поддержать стоимостью кожмитовых ботинок? Жизнь ведь была дорогая и трудная, так что надо было все учитывать, если ты порядочный человек. Очень запомнилось, как его накрыли простыней санитар и врач, и потом вели накрытого с головой, а босые его ноги грамотно переступали по дорожке, помня, где какие камни.

Они еще в себя не пришли в бухгалтерии и рот не успели закрыть, как появился Уханев и первое, что сказал:

— Почему у вас на столах камень? С какой целью они лежат?

И вместо того чтобы просто ответить — для придержания бумаг от ветра, они наперебой стали оправдываться и сказали столько лишних слов, что получалось: смысл у камней есть и он — другой. В общем, голый сумасшедший Цыпин и новый начальник Уханев имели, так сказать, между собой неразрывную нервную связь.

Вот почему сердце Дмитрия Федоровича ворохнулось и ушло под мышку, когда Нюра сказала про Дуську и допр.

Уханев был человек с виду заметный. Он отличался от всех такими набрякшими красными глазами, что никакой другой мысли, что был он человеком крепко пьющим, просто не могло

возникнуть. Тут и крылась ошибка. Потому как Уханев был трезвенником, причем принципиальным. Он не просто не пил спиртное, это бы ладно, такие люди тоже есть. Он из всего выбрал то, что по шкале жидкостей дальше всего лежит от вина и водки, — молоко. И пил его в огромном количестве, причем обязательно от одной и той же коровы. Люди совсем с ним запутались, теряясь от вылупленных глаз, не соответствующих молоку.

Дуська, который вырос в жуткое трепло, встретив Уханева в общественной уборной на базаре, радостно спросил его:

— Уханев! А правду говорят, что ты какаешь белым, как голубь? Или наговаривают?

Надо сказать, что история изначального появления Дуськи в поселке не была тайной. Все знали, чей он и откуда. Но то было время, когда доносительство еще не стало национальной эпидемией и люди еще не скурвились до такой степени, чтоб совсем уж не различать, где хорошее, а где плохое. Уже много чего было, но кое-чего еще и не было. И допр тогда не то что пустой стоял, но места свободные имел.

Именно с Дуськи все завертелось круто, и допр быстро и навсегда заполнился.

Нюра бегала, носила дурному брату передачи, а потом додумалась сходить к Уханеву лично.

Принарядилась бабушка Нюра, губки намазала, брови навела, в туфли выходные на венском каблучке влезла, застонала от непривычки, но все-таки именно в них тронулась. Да! Еще она косыночку повязала файдешиную, от платья Ниночки кусок остался, ни то ни се — получилась косыночка. В общем, сто лет так не одевалась Нюра, а ради меньшого брата решилась. Шла с оттопыренными губами, чтоб не съесть помаду.

Пришла и все Уханеву чистосердечно рассказала, какая у Дуси никудышная по советским прекрасным временам мать. Они с Дмитрием так уж парня выравнивали, так выравнивали, разворачивали «от гадалкиных корней», и даже бил его муж пару раз, «моете нам поверить, порол как Сидорову козу»...

Внимательно слушал Уханев, к большому удовольствию Нюры. Сроду ее в собственном дому никто не слушал. А тут чужой человек на бумажечку ее слова записывает.

— Гадалка, значит? — уточнял Уханев.

— Ну? — радостно вскидывалась Нюра. — Какое может быть воспитание? Но Дуська, Евдоким, он с нами растет в нужном направлении ума... Потом поглянете сами, когда вырастет. Мы с мужем кумекаем: он в механики выбьется.

На следующий день в допре уже сидела Григорьевна с дочками.

Нюра узнала об этом случайно, когда гуляла с Лизонькой. Она после этого разговора прямо вся аж расцвела: я, говорит, могу человека убедить, тем более, если хорошо выгляжу и губы мазну. Это у тебя я (это она Дмитрию Федоровичу) Дуся с мыльной фабрики, другие же способны оценить. И на другой день ждала, что с минуты на минуту Дуська-баламут явится, и она его непременно по щекам, по щекам нахлещет... Ладони у нее прямо чесались.

— Ну, я тебе! Ну, я тебе!

Дуська же все не шел. Но зато прошла мимо по улице Устя, дальняя родственница, с которой Нюра не родычалась, потому как Устя была самая большая сплетница во всей их Щербиновке. Устя могла такого наговорить, что никаким мылом не отмоешься, да что мылом? Каустическая сода Устины сплетни не могла бы вытравить. Такой ядовитый был язык у Усти.

— У тебя, Нюрка, — сказала Устя с презрением, — вся родня — одни тюремщики. И те, которые сидят, и те, которые сажают. От вас теперь надо, как от чумы. Подальше. Ненароком прилипнет.

И пошла такая гордая, а Лизонькину деревянную колясочку обошла, как заразную.

— Ты что своим языком мелешь? — закричала ей вслед Нюра.

— Ага! Мелю! — обрадовалась издали Устя. — Весь ваш гадюшник посажали, весь! С гадалкой вместе!

Нюра почувствовала, как у нее натягивается на лице кожа. Да как-то так, на одну сторону, вроде как потянуло нос к левому уху, и он к нему даже, считай, приблизился.

Нюра схватилась за лицо, а тут ее Лизонька увидела, да как закричит не своим голосом! Тут только Нюра сообразила, что у нее с лицом что-то страшное. Три недели к себе никого не подпускала. Дмитрий разговаривал с ней через накрытую на лицо косынку. Странно было видеть, как западала от Нюриных редких слов на рот легкая материя и как шевелилась она от дыхания. У Дмитрия просто сердце заходило от жалости. Он даже поцеловал Нюру через платочек, а Нюра на это так заплакала, так заплакала.

Через три недели вышла из темной комнаты седая старуха с серым, уже стоящим на положенном месте лицом, только уголок рта чуть-чуть остался влево. Отчего стало казаться, что Нюра если не плачет, то собирается это сделать. Потом со временем это стало всех раздражать: ну чего ты, чего?

Только у мертвой Нюры через тридцать с лишним лет лицо стало правильным, и все тогда спохватились и сказали: «Смотрите, какая она

красивая в гробу. Как в молодости».

Больше всего этому удивилась внучка Лиза, которая приехала на похороны. Она бабушку некосоротой не знала, а тут лежала такая аккуратненькая лицом старушка. Даже получалось — чужая, что Лизе облегчило прощание. Не моя бабуля! Но то было портом, потом...

А тогда вышедшая из темноты комнаты Нюра ничего никому не сказала, а стала вязать теплые вещи в допр, собирать продукты... Несла это все по улице, ни влево, ни вправо головы не повернув.

— Нету их, нету! — сказали ей. — Выслали.

— Ну чего ты, чего? — кричал ей уже Дмитрий, потому что испугался, как бы у Нюры снова не изменилось лицо. — Что теперь сделаешь?

То ли ему показалось, то ли Нюра на самом деле замычала, как соседская немая Сонька, но на том мычании, в общем, все и завершилось. И можно сказать, что завершилось благополучно. Могли ведь и их всех взять? Могли. Уже брали семьями. А не взяли. И даже наказания никакого им не последовало. Из квартиры не выселили, с работы Дмитрия не выгнали, а все могло быть! Столько всего началось, так что там судьба одного Дуськи и его сестер с матерью? Ну, мать, конечно, старая, а он молодой, выживет, переживет, еще в гости приедет.

Нюра не знала того, что знал Дмитрий.

Уханев в допре избил Дуську до потери сознания, будто бы даже сапогами. Дмитрий, узнав это, — как хотите о нем думайте — испытал невероятное облегчение, даже радость. Значит, видел он в кровавом месиве своей мары не Колюню — Дуську. Поди разбери, оба рыжие, оба рослые. Человек в будущее заглянуть может, объяснял себе Дмитрий, но в точности не все в нем разглядишь. Это ведь взгляд не *во что-то* или *куда-то*, это вообще не взгляд, это... Дмитрий думал, ну что это? Что?

От неясности мысли по этому вопросу вернулась та ясность, которая родилась в «кукушке». Надо скорей, скорей отправить Колюню куда-нибудь подальше от Уханева, от этой неудачной родни, в конце концов, от них с матерью. Ничего больше они ему дать в жизни не могут. Ничего! Купили Колюне пальто-москвичку, кубанку цигейковую и сапоги хорошей кожи с яловыми головками.

— Езжай, сынок!

Правда, тут же случилась неприятность. Колюня обменял сапоги на скрипку. Если учесть, что играть он не умел, то это был еще тот обмен. Но Колюня сказал, что хоть босиком, хоть голый, но он выучится играть на скрипке, а сапоги, купленные ему, — это уже личная собственность, которая разрешена конституцией, а значит, он вправе одну личную собственность менять на другую, и никто

ему не указ.

Теперь сапоги с замечательными головками носил паренек из шахтоуправления и, как назло, все время попадался Дмитрию Федоровичу на глаза. Следил за сапогами парень плохо и снашивал их некрасиво, набок, так что месяца через четыре, когда у сапог вида не стало, Дмитрий Федорович философски подумал: а может, скрипка долговечней? Ясно, вряд ли Колюня научится играть, слух у него, конечно, богатый, но и скрипка — инструмент тонкий, тут надо с детства. Колюня скорей всего зарвался в этой своей мечте. Мечту ведь тоже надо выбирать с умом.

Надо сказать, что Дмитрий Федорович, пока росли дети и он, как отцу положено, воспитывал их словами — что хорошо и плохо, внутренне (Боже, об этом никто не знал) был — как бы это сказать? — *скукожен*. Он уже хорошо знал, что его понятия о жизни в жизни его детей пригодиться не могут. Ну, ладно, оставим в стороне Бога... Даже без него... Даже без него не получалось приложить то, что он думает и знает о природе людей и вещей, к тому, что было вокруг, и чтобы не хряснуло в мозгу и Нюра не закричала дурным голосом: «Ты думаешь, что говоришь, думаешь?» А он как раз думал. Он крепко думал, прежде чем сказать, а получалось, говорил черт-те что. Дети, конечно, молчали, не выражали несогласие, а машинистка

Варя, чужой ему человек, сказала прямо: «Вы, Дмитрий Федорович, человек заумный». Он не опустил до того, чтобы выяснять у Вари, что она имеет в виду, но как-то приложил Варино заявление к Ниночке и Колюне — могли они такое думать о нем? И ответил: могли. Он сам себя иногда таким именно и чувствует — заумным, то есть человеком, у которого ум в сегодняшней жизни не срабатывает, его ум для каких-то других условий сгодился бы... И то! Он ведь разъяснения к жизни — а что такое воспитание, как не это? — получил еще до первой революции. И надо сказать, в него это крепко впилося. Никифор, тот отцовскую начинку взял и вынул и стал жить пустой, наполняясь содержанием нового времени. У него же так не получилось, хоть тот же Никифор хорошо его тряс. Ну, что тут сделаешь? У него такая природа. Сейчас, глядя на детей, думал: им его представления о том, что хорошо, а что плохо, не годятся. Разве что Леля, та ротик всегда открывала на его слова послушно, он даже смеялся: «Да закрой рот, детка, люди ведь ушами слушают». Может, она одна и усвоит что-то, а может, по младости деточка старается, не хочет послушаться? Хотя старшие и по младости не поддавались. Упертые. Иногда накатывала печаль. Хоть плачь. Когда думалось: зачем мне понятие, если оно во мне и умрет? Какой же в нем тогда смысл? Или истина вообще не для всех, а

выборочно? Взять, к примеру, понятие о любви. В свои неполные семнадцать лет он влюбился в дочку помещика. Барышня эта исповедовала какое-то там учение, по которому ей, красавице и богачке, полагалось таскаться по нищим дворам и возиться в самой что ни на есть вони и грязи. Она, естественно, и к ним попала. В семье было одиннадцать детей, и именно в тот год Бог прибрал сразу четверых малолеток. Митя, тогда совсем молоденький и глупый, был раздираем натиском двух противоположных сил, которые действовали на него. Силы уже вошедшего в революционное движение Никифора — только уничтожение строя, только кровь, только революция спасут сирых и убогих. И первый враг — вот эта барышня, которая только притворяется доброй, чтоб они потеряли праведный гнев и революционную силу. «Первый враг» как раз помогала матери собирать на тот свет очередного младенца. «Что вы, Митя! — тихо говорила она, когда он провожал ее вечером до усадьбы. — Всякая насильно пролитая кровь зовет за собой другую. Ничто так не кричит, как кровь. На этом пути нет остановки, понимаете?»

Он не понимал. Почему нет остановки? Если убить плохих и оставить хороших? Каждый человек в состоянии понять, кто хороший, кто плохой. Оставить хороших! Это же так прекрасно ясно!

Отец же сказал третье: все люди на свете

нужны, и не этому дураку Никифору определять, кому жить, кому помирать, кто плохой, а кто хороший.

Мать их была умней всех. Она тогда увидела самое главное — он влюбился в девушку, в которую ему влюбляться нельзя. Она повела его далеко, в кукурузные заросли, посадила рядом с собой на теплую землю. Невероятная мать, только что схоронившая двоих детей, она стала говорить с ним о любви. Сначала он вскочил, возмутился, застыдился.

— Да ладно тебе, — сказала мать. — Она очень славная! Очень!

Она столько сказала о барышне прекрасных слов, она столько отыскала в ней достоинств, что он даже испугался — как это может быть для него? Получалось, что любил он нечто недостижимое и такое от него далекое, что любить это, конечно, можно, а вот приблизиться нельзя.

— Ты люби ее, люби, — говорила мать, — всю жизнь люби... А приведешь в дом совсем другую, она будет на нее похожа, но будет и ко двору...

Он никогда не забудет облегчения, какое испытал в этот момент. Он уже стал задыхаться от недостижимости красоты и ума, и нечеловеческих достоинств, он понял, что ему рядом с барышней не то что стоять, дышать нельзя, — нечем! — а мать

возьми и пообещай ему красоту, с которой вполне можно дышать рядом.

С земли мать поднялась тяжело, постояла и снова села, и заплакала горько, видимо, сразу обо всем. Он гладил ее по спине, первый раз в жизни, как взрослый сын, как уже защитник, и в таком новом для себя состоянии ему уже окончательно и с полной ясностью пришло даже не понимание — ощущение, что мать абсолютно права, что красивую помещичью девочку он, конечно, любит, но...

Когда барышня пришла к ним в очередной раз, он вдруг заметил мелкие прыщики на лбу и носу, и нечистые ногти, а в их беспросветной бедности чистые ногти ставились выше любой чистоты, как же она не знает об этом?

Долго потом мечтал, как будет объяснять правила любви и выбора своим детям, но случая такого так и не представилось. О чем говорить с Ниночкой, если Ваня Сумский был футболист и гуляка и больше никаких отличительных признаков не имел, но Ниночка сказала: все. Он — и никто больше. А этот, запакованное в форму мурло, работающее по профессии Уханева, которого привела потом Леля? Или поблядушка, которая едва не окрутила дурачка Колюню? Какой там разговор о выборе! Все это надо было бы выжигать каленым железом и гнать с порога, гнать, но уже

наступило время, когда никто не слушал родителей и никто ни за кого не отвечал. Если бы еще Нюра была ему союзница, но она как-то сразу всему покорилась. На Ваньку Сумского глянула с отвращением, а сказала так:

— Хай живут!

И на Лелю, и даже на эту Колюнину выдру, на которой места для пробы не было. Все Нюре было — хай! Дохайкались до Сталина и Гитлера, так он говорил своим пчелам. С ними со временем у него и стали происходить главные разговоры.

Сидел в шляпе с сеткой на том самом чурбачке, который хотел когда-то отпихнуть ногами, и рассказывал пчелам все про все. Издали видно не было, что старик сам с собой разговаривает, только пчелы и Лизонька про это знали. Лизонька в малине играла, странная такая девочка, тоже играла в разговоры. Старый и малый бормотали что-то, только им известное.

— Гитлер не сегодня-завтра придет, — объяснял старик пчелам. — Конечно, немцы порядок любят. В смысле хозяйства это, может, даже и на пользу. Дороги построят, дома, колхозы ликвидируют... Но на черта нам этот немецкий порядок? Мы и сами смогли бы... Немцы — народ нам противопоказанный. Быть большому кровопролитию... А одну хорошую большую бомбу немцы могли бы бросить в цель. Но это трудно, *те*

ведь наверняка попрячутся, а значит, опять пропадай простой человек. Нас ведь, если чужой тронет, тут мы без спуска... А свои могут мордовать хуже, чем любой лютый враг. Такие мы стали.

— ...И была у принцессы коса, — рассказывала Лизонька, — длинная-предлинная, никто не знал, где кончается. Только тот мог на ней жениться, кто косу до конца расплетет. А никто не мог! Никто! До середины не добирались, запутывались. И тогда принцесса рубила своим женихам головы. Она была, конечно, добрая, но и злая тоже. Как столетник, колючий и полезный. И тогда пришел Иван-дурачок. Подошел к принцессиным волосам, она ждет, думает: вот бы ему повезло, очень он красивый, я хочу за него замуж. А Иван-дурачок достает тихонечко ножнички, чтоб никто не видел, чик-чик-чик — и отрезал косу возле самого затылка. Закричала принцесса не своим голосом, а коса ее лежит на полу, как миленькая, и сама собой распускается, распускается, на волосики распадается, и все они по сторонам, как змеи, расползаются. Через минуту косы как и не было, а принцесса стоит стриженная, некрасивая. Иван-дурачок посмотрел на нее и сказал: «Фу! Ты мне и даром не нужна!» Заплакала принцесса и пошла бродить никому не нужная, сиротиночка бескосая.

...Где-то там, в неизвестности смыкались слова деда и внучки, находила принцесса стариковскую бомбу, которая без нее в цель попасть не могла, а может, Иван нашел лучшее применение своим ножничкам и шел на спасение глупого народа, который от своих может терпеть до бесконечности сил.

Приходила баба Нюра, приносила старику кислого квасу из погреба, а Лизоньке теплого козьего молока от малокровия и для общего укрепления организма. Старик и внучка отвлекались от своих мыслей с неудовольствием, они еле-еле терпели эту бестолковую бабу Нюру, которая приходила всегда на самом интересном месте мысли. Дрожал Нюрин уголок рта, когда она смотрела на старого и малую, сердце ее мучилось печалью, страхом за них, за всех детей. И по суеверию темному ругала Нюра их всякими словами. «Ах вы, паразиты, ах, паразиты! Засели тут в малине и шу-шу и шу-шу... Сильная от вас польза получается».

И уходила будто бы сердито, човг-човг растоптанными туфлями по земле, човг-човг...

4

Немцы вошли в их поселок, когда старик молча сидел на своей пасеке уже несколько дней,

повернувшись спиной к западу. Именно там гремело и ухало, оттуда шли эвакуированные коровы и бежали перепуганные люди. К этому моменту старик в силу державы верить уже перестал. Победить — победим, такого, чтоб немцу уступить, конечно, не будет, но жилы порвем насмерть, жилы людей, потому как, кроме жил, нечего против немца поставить. Представлялось, что будет не только много крови — много дури, и от этого болело сердце. Перед самой войной возникло противное слово — форпост, куда входили дети, а выходили барабанщики. Лизонька была маленькая, но ведь такое не остановишь, подрастет — думал — и тоже ударит по барабану. Ну, ладно, они считают это музыкой. Пусть... Но ведь хороводят во всех этих новомодных делах совсем уж никчemuшные люди. Он в свое время осуждал Никифора за резкость в суждениях о будущем его детей. Тоже! Придумал бросить племянников на черные исправительные для их ума работы. Но, по сравнению с нынешними, Никифор был просто святой человек. Во-первых, допрежь всякого дела он думал, мучался мыслью. Можно сказать, что размышления и мука сильно влияли на организм — вон он какой был худой и черный. Так вот, нынешние вожаки с тела не спадали, ни-ни! Они были крепкие и налитые (смотри Уханева). Но самое главное — в конце концов, дело не в

человеческом весе — они не соображали. Ну, ни в чем! У Дмитрия Федоровича даже возникала мысль, почерпнутая из неизменного источника — из Гоголя: они — эти форпостовцы чертовы — не просто не знали, где право, а где лево, они знать этого не хотели. По их жизни неважны были ни стороны света, ни верх и низ, ни, тем более, вещи более тонкие, требующие проникновения в суть. Сути для них не было вообще. Была колом организованная и на попу поставленная жизнь и таким же ломовым, дурьим способом развязанная война.

К ее началу как раз надумали достраивать их улицу, и за его домом в одночасье, на этом самом энтузиазме — топливе социализма (Дмитрий Федорович называл его пердячий пар) — поставили три фундамента. Они сейчас уже прилично заросли, потому что между всяким началом работы и ее концом в современной жизни пролегал неопределенный предел. Это могло быть сколько угодно времени... Фундаменты поставили назло фашизму, разгулявшемуся в Европе — этой глупой старой земле, которая жила уже без понятия, как стрелять в цель, пребывая в шоке после той, первой войны. А вот в их поселке мишени висели на каждом шагу, противогазы всем были выданы под расписку, и дети под звуки палочек без ума рыли окопы, можно сказать, вдоль и поперек. Кому какое

дело, что от такой перерытости ни пройти было, ни проехать, зато крику! Лопату — на плечо! Иногда хотелось собрать семью и уйти куда глаза глядят, но понимал — глупая мысль. Идти некуда. Так вот в бессмысленности вырытых окопов и заросших фундаментов во время войны увиделся смысл. Дмитрий Федорович сообразил, что танком теперь к его дому не подойти, потому как фундаменты были глубокие, но одновременно и прилично торчали из земли. Это значит, что и на случай артиллерийского обстрела они годились, не пионерские окопы. Но пока Дмитрий Федорович на пасеке соображал, как спасти семью, немцы вошли к ним без единого выстрела. То есть ни они, ни в них; что называется, дали-взяли без боя. Вроде как и хорошо, а с другой стороны, где же ты, дорогой товарищ Уханев, вооруженный до зубов? Где? И кто же теперь немцу что противопоставит?

Немец же к ним пришел нахальный и глуповатый и, как ни странно — нестрашный. Как потом выяснилось, это были не немцы вовсе, а итальянцы и румыны, все сплошь деревенские ребята, а немцы были вкраплены в этот интернационал для скрепления состава, потому как без них итальянцы тут же бы все переженились, а румыны поменяли бы оружие на какое ни есть барахло, так оно, конечно, все и происходило, но при наличии фрицев и гансов не в той степени, чтоб

уж совсем развал. Но — и это важно — такая нестрашность чужой армии не спасала от четкости и деловитости (как быстро они насобачились) законов самой оккупации. Перепись евреев и коммунистов, организация орднунга, аусвайсы там всякие, с этим все было очень организовано. И потому, глядя на такое почти мирное осуществление фашистских задач, думалось: ну, хорошо, это вы тут такие, где против вас даже хлопущки не было, а какие ж вы там, где стреляют и где вашим противостоят наши? Не везде же одни Уханевы, которого как корова языком слизала. Один вагон для эвакуации начальства к ним был подогнан непосредственно по той самой ветке, по какой бегала рабочая «кукушка». Уханев был главным в организации спасения райкомовских работников, и еще на его счету был подвиг взрыва водокачки. Дело это было подлое по отношению ко всем оставшимся людям, где теперь воду брать? Нельзя же, имея в виду гибель от жажды врага, мимоходом поубивать и своих? Хорошо, что кое-где сохранились колодцы, и хорошо, что немцы, себя любя и жалея, починили водокачку, а так неизвестно, что пришлось бы делать, в их краях с водой всегда было напряженно.

Но есть, есть в нашем народе одна черта. Мы сто лет будем терпеть своего тирана и убийцу, а оккупанта, пусть даже давшего воду, на дух не

вынесем, и будет ему от нас от всех полное поражение. Во веки веков, аминь. Такие мы люди. И, повторяю мысли Дмитрия Федоровича, свой может мордовать нас как угодно. Так вот оглянуться люди не успели, как у этих полудохлых в военном смысле румыно-итальянцев стало то там, то сям трещать и рваться, и пошли одна за другой диверсии, и даже голубенькие листовочки на оборотной стороне плакатиков по технике безопасности «Бей немецких оккупантов!» стали появляться на столбах и штакетнике. То, что одной из *жил* сопротивления окажется старшенькая, Ниночка, Дмитрия Федоровича потрясло до глубины души. Встряла дочка в какой-то отрядик, клепали они там эти самые неказистые листовки, дурье молодое, против немецкой организованности прежде всего пошли чернилами... Но и не понимать силу этих возбуждающих чернил Дмитрий Федорович не мог. А раз так — прикрывать дуру и их отрядик надо. Именно тогда недобро загоготала улица — старик, оказывается, немцам рад! К советской власти всю жизнь сидел в маске и вперед жопой, а тут накомарник снял и вступил с врагом в разговоры. Кур-кур, мур-мур... Вогин? Нах куда прете, и так далее... Разговористый оказался дед, ручкается с немцами, млеко от хорошей козы Катьки предлагает... Кто ж знал, что в это самое время лихие подпольщики на его пасеке картинки

рисовали «Гитлер капут». Старик им шалаш освободил, в котором любил лежать, когда приходила в его тело какая-то странная, тянущая к земле истома, и тогда ничего не хотелось, как лечь спиной прямо на голую холодную землю, чтоб впились острые колючки в спину и потянуло из глубины земного шара теплом и холодом сразу. Кто не верит, пусть так ляжет навзничь, без мыслей, без всего, чтоб одновременно ощутить себя неделимой и бессмертной частью всего сущего.

Так вот, в шалаше молодежь боролась с фашизмом, а старик заговаривал фашизму зубы во дворе под яблоней. Враги, что стояли у них на постое, были совсем мелкого калибра. Один оказался художником, все рисовал Лизоньку, и выходила она у него на листах глазастой и длинноногой обезьянкой.

— Плохо умеешь, — обижался Дмитрий Федорович. — Свою б ты не так нарисовал. А у чужих недостатки подчеркиваешь...

— Вас? Вас? — спрашивал немец.

— Квас! Квас! — отвечал ему старик. — Не умеешь — не берись. Тебе до передвижников не дойти ни за какие деньги.

Плохо было то, что Нюра тоже догадалась про шалаш. Однажды они утром проснулись, а шалаша нету, даже следов никаких, как ветром сдуло. Это была ошибка в действиях Нюры, потому что

Ниночка после этого стала уходить из своего дома ночью, а раньше все-таки была на своем огороде. Надо сказать, что с мужем своим Иваном Ниночка уже к этому времени разошлась, паразит Сумской даже успел погулять и снова жениться во второй раз, жена его вторая, еврейка, жила совсем недалеко, в одном водопроводе воду с ней брали. Нюра испытывала ко второй женщине бывшего зятя даже некоторую нежность. Нашлась же, скажите, еще большая, чем Ниночка, дура и подобрала этого шаромыгу. Ко времени немцев росла уже у еврейки девочка Роза, кудрявенькая и губастенькая, как негр. Еще до разрушения шалаша, до того, как старик в корне поменял устоявшийся образ жизни, Ниночка возьми и приведи в дом Розу. Не своим голосом закричала Нюра: «Ты что ж себе думаешь, дочь моя дубиноголовая?» Ниночка же только глазом зыркнула, а потом под нуль сняла у Розы волосы, можно сказать, соскоблила их до белого цвета кожи, одела девчонку черт знает в какие ремки, посадила на тачку и отвезла в неизвестном направлении.

Хитрость заключалась в том, что ни один человек не мог заподозрить в спасении именно этого ребенка Ниночку. Тем более что на еврейку она всю до войну просто не смотрела и, когда той на спину нацепили желтую звезду, делала вид, что так, мол, ей и надо. Люди очень хорошо понимали

Ниночку: все-таки хоть и нестоящий Сумской человек, а уходить к еврейке от Ниночки, даже через промежуточных женщин, значит наносить последней сильный удар по самолюбию и даже слегка по национальной гордости. Поэтому, когда энтузиасты движения за чистоту рас стали искать пропавшую Розу, во двор Рудных никто и зайти не думал, а ведь видели, как Ниночка рано утром везла кого-то на тачке.

— Кого это ты везла, Нинок, во вторник?

— Здрасьте вам! Это ж я Лизку катала!

— А чего это ты такую здоровущую девку катаешь, надрываешься?

— Здоровущая, скажете? — тараторила Ниночка. — Больная вся! Малокровная, сил нет! А аппетита никакого ни на что...

Ниночка подтаскивала для убедительности Лизоньку, которая, ничего не подозревая, читала себе в углу любимую книжку «Барышня-крестьянка» — на ней она и грамоте выучилась, — заворачивала дочке веко так, что смотрящему на это делалось страшно, и ничего не оставалось, как убедиться в разрушительной силе детского малокровия.

Вот почему Нюра так решительно разломала шалаш.

— Дитя спасла? Спасла, — объяснила она твердо. — А остальное не твое дело... Пусть

мужики воюют, если могут...

Но когда Ниночка перестала ходить ночевать домой, Нюре пришлось придумать для людей, будто Ниночка по молодости тела стала погуливать. На всех углах плакала она горячими слезами над пропадающей Ниночкиной женской порядочностью. Кого у нее только нет, плакала, говорят, даже итальянец один есть... Не гребует, сучка такая, никем...

Тут, надо сказать, в легенде произошел перебор. Поэтому, когда пришли наши и чистосердечную деятельность отряда имени Щорса райком партии не утвердил, поскольку не было там их представителя, слухи о плохом поведении Ниночки, распространенные лично матерью, не просто остались, а хорошо проросли.

Пришлось Ниночке даже уехать, так как молодежь из их шалашового отрядика, которая рисовала там какие-то листовки, защитить ее не смогла, их тогда тоже взяли к ногтю.

— Не было вас, и все!

Уханев, здоровенький и крепенький, как раз к тому времени вернулся и появился у них во дворе, весь такой гордый и брезгливый, и уже в больших орденах.

Нюра сказала Уханеву то, за чем он и пришел.

— Никаких отрядов тут и близко не было. Нинка? Да бросьте вы и думать! Шалава она у нас.

Вот еврейского ребенка спасла, то чистая правда.

И она вывела вперед Розу, которая жила уже у них, обросла черным волосом и не имела ничего общего со своим отцом-украинцем, а была с виду типичным представителем материной национальности.

Уханев тяжело задумался, что само по себе ничего хорошего сулить не могло. Вот тогда собрали Ниночку по-быстрому и купили ей билет в Москву, где к тому времени сильно пошла вверх по партийной линии их младшенькая, Леля.

«Боевитая», — думал о дочери Дмитрий Федорович. Но беспокоился, как бы партийная работа не отразилась на ее женском естестве. Все-таки, что там ни говори, а есть в этом деле некая сущность, которая человека меняет. Ходит у них по улице райкомовка Фаля. Ну, не баба, и все тут, хотя, если брать вразброс, по частям, то все вроде правильно. И нога длинная с крутым подъемом, и бюст торчком, и волос густой, и лицо ничего себе, если смотреть на фотографию, а не на живую, что, конечно, странно, но ведь живет одна как перст, и мужики, даже самые гулевые мужики типа их бывшего зятя Вани Сумского, все — мимо Фали. Сказать, что она гордая и принципиальная, тоже не скажешь. Дмитрий Федорович нутром чуял, когда с ней возле колонки встречался, что Фаля хочет, как все обыкновенные женщины.

Хочет, а не может. Вот такого же «не может» боялся он и для Лели. Тем более что идет война, мужчин будет потом мало, и останется Леля старой девой, а это так страшно, что и не сказать. Это страшнее, чем с Ниночкой: сошлась — разошлась. Вот уж у кого насчет женского естества, можно сказать, перебор. Ведь, если подумать: как же все сразу поверили, что она гуляет с итальянцем! Никаких же фактов, а ляпнула со страху Ньюра, и все как один согласились. Потому что от Ниночки именно такое ожидать можно.

Но потом пришло радостное сообщение, что Леля вышла замуж. Это так их с Ньюрой обрадовало, что они даже отвлеклись от мысли, что от Колюни давно ни слуху ни духу. Канул как в воду. Но ведь война... Плохой вести нет, значит, уже хорошо.

Тем более что и раньше, еще до войны, письма от него шли дурные и редкие, и все с разными намеками: «Вот завербуюсь на Шпицберген. Тогда уж не удивляйтесь, если писем долго не будет». Или: «Мечтаю о подводной экспедиции. Получается, что капитан Немо не превзойден? Как же я могу это терпеть?» А то и совсем дурь: «На Испании наше дело не кончилось. Мы еще пошагаем по другим землям».

С фронта тоже писал весело, с рисунками и стишками: «Гитлер едет на свинье, балалайка на спине», а то и с точками, догадайся, мол, сама. А

чего догадываться, сплошной мат в адрес фашистов. Нюра радовалась письмам, но кричала: «Вот шалопут, вот шалопут!»

А однажды вечером, как в сказке, фыркнула возле забора легковая черная машина, и вышла из нее Леля в габардиновом пальто и шляпе с вуалеткой в черную точку, чемоданы за ней нес представительный мужчина, тоже весь в габардине и тоже в шляпе, с легким левым наклоном. Они топали по дорожке к дому, а Нюра стояла на крыльце босиком и причитала дурным голосом от радости: «Святые угодники, да что ж мне для вас сделать за такой подарок!» Леля строго и насмешливо сказала:

— Мама! Только без угодников. Уж, пожалуйста!

— Господи! — закричала Нюра. — Да это я так! Без ума! Что ж я не понимаю, что их нету?

— Кого нету? — спросил новый зять, ставя шляпу на комод.

— Угодников! — ответила Нюра. — Если б были, разве б войну допустили? Теперь и вопроса нет, что Бога нет, вы в нас не сомневайтесь.

И Нюра даже сделала странный прыжок: левую ногу к правой, а руки ее засуетились, отчего Дмитрий Федорович даже испугался, что дура старая сейчас отдаст Лелиному мужу салют.

Пришлось ее слегка толкануть, а то ведь мог

быть срам с этим салютом.

Леля навезла продуктов. Вываливая банки, свертки на стол, сказала, что Ниночка устроилась в Подмосковье, пока на тяжелые работы. «А что вы, собственно, хотите с ее репутацией? От нее самой будет теперь зависеть, как дальше пойдет дело. Мы живем в стране, где каждый получает по заслугам», — Леля как-то легко, будто ненароком посмотрела на себя в зеркальце, желая убедиться, что ее личные заслуги отмечены в полном и справедливом соответствии. Что, наверное, и было правдой. Леля была модно одета, чисто ухожена, деньги в ее сумочке лежали толстенько, муж тоже произвел очень благоприятное впечатление. Вымытый до самого скрипа мужчина. Дмитрий Федорович именно это сразу отметил. Он любил чистоту до скрипа и по субботам мылся в корыте в первой горячей воде, только после него пускалась в плавание Нюра, а уже после Нюры — дети.

Дмитрий Федорович хорошо помнил свои войны за чистоту ног с Колюней и Дуськой. Эти хлопцы могли лечь в постель с черными пятками, им и в голову не приходила мысль хотя бы сполоснуть ноги из кружки на крыльце, как любила делать Нюра. Конечно, это было поверхностное мытье, но все-таки какое-никакое... Потом взять бывшего мужа Ниночки. Тоже от субботнего корыта до корыта к воде едва-едва подходил. Ну,

облейся летом во дворе, принеси ведро воды и облейся. Разотрись и живи чисто, так нет же! Ни за что... Умывался одним пальчиком... Говорил: холодного боюсь.

Новый же зять Василий Кузьмич такой был весь чистый, что Дмитрию Федоровичу сразу сделалось на душе радостно.

Правда, точила как червь одна мысль: почему такой здоровый мужчина не на фронте? Вопрос для Дмитрия Федоровича был краеугольный, круто замешанный на образе Уханева, который тоже был молочно-сильный и тоже не был на фронте. Он уже знал, что Василий Кузьмич работал в органах, и это опять же наводило на плохие мысли, которые Дмитрий Федорович тут же прогонял, потому что нехорошо думать о человеке нехорошо, если он этого человека только-только увидел. Могучие с виду вполне могут иметь какую-нибудь страшную внутреннюю болезнь. Есть, например, такая, от которой вся кровь из царапины может вытечь. Как же не беречь таких людей? А может быть и туберкулез при вполне цветущем виде. Тем более если подлеченный...

Короче, в дом пришла радость, а ты личный прыщ расковыриваешь ногтем. Стыдно!

Конечно, зашел разговор, что не пишет Колюня. И, конечно, стариков успокоили. Самое страшное в войне кончилось. Уже сорок четвертый

на вторую половину пошел, войне осталось всего ничего...

Кто ж мог знать, что Колюня уже год как сидел в Бутырской одиночке. И не расстреляли его сразу на фронте как шпиона — идиот какие-то двусмысленные матерные частушки пел — только потому, — Господи Боже мой, чего только не бывает! — только потому, что один бывалый по ловле шпионов майор пожалел Колюню и, чтоб спасти, сшил ему дело такой важности, что Колюню спецрейсом трах-бабах в Москву. «Парень! — сказал он ему. — Чем на тебе больше сейчас будет, тем ты дальше будешь от пули». Оказывается, и такая могла быть логика. Глупый майор не знал, что ли, куда посылал? Не подозревал, что такое *не самый плохой вариант?* Такой оказался дурной майор, а были ли там вообще умные? Это вопрос вопросов...

Но когда Колюню метелили уже в Москве, потянул избитый Колюня за собой других. И в тот радостный вечер, когда Дмитрий Федорович, Нюра, Леся и Василий Кузьмич пили чай с зефиром в шоколаде, у Колюни была очная ставка с профессором музыки, который смотрел на Колюню с таким ужасом, что Колюня не выдержал и завыл. Так выл, что не могли с ним справиться очень дюжие ребята. И так они с ним, и сяк, ну, просто пришлось сапогами, а то ведь что можно было

подумать, услышав нечеловеческий вой? Стены стенами, но куда-то звук все-таки доходит?

Пили чай и ничегошеньки не знали. Причмокивали от мягкости и воздушности зефира.

— Вот это как раз на мои зубы! — умилилась Нюра. — Прямо губами ешь...

Дмитрий же Федорович именно в тот день напрочь страшную свою мару вычеркнул из сердца. За этим самым чаем он взрастил в себе уверенность — страшное произошло с Дуськой. Он ведь тогда лица-то не видел, С Дуськой все случилось, с Дуськой. Он точно это знает. А Колюня напишет, это верно, как и то, что по радио идет скрипичная музыка. Играет такой-то...

— Надо же, — засмеялся Дмитрий Федорович, — Колюня, сынок, перед самой войной с ним познакомился. С исполнителем этим.

— Ну, Колюня у нас нахал, — добродушно сказала Леля. И это был тот достаточно редкий случай, когда она сказала чистую правду.

Свою роковую роль сыграла проклятая скрипка. Дело было так. Решил Колюня, что он должен учиться играть у самого что ни на есть лучшего специалиста. У него всегда запросы не по мерке. Приперся к профессору консерватории. «Здрасьте вам, я — Колюня!» Тут надо сказать, что было у этого шалопутного парня что-то такое-эдакое... Мог кого угодно уболтать, и так,

что его слушали, раскрыв рот, а дальше — все. «Садись, Колюня, ешь, пей и ни в коем случае не уходи от нас. Мы без тебя теперь не сможем».

Так вот, Колюня спел профессору все песни, какие выучил за свою жизнь. Потом их же проиграл на пианино, которое он месяц как освоил в институтском клубе. (Колюня учился в индустриальном институте.) Потом он чечеточкой сплясал эти песни — «ногами это выглядит так», — потом снова сыграл на трубе, у профессора была большая музыкальная семья и инструментов всяких было до фи́га.

Говорят, профессор просто рухнул от способностей Колюни, тем более что тот по ходу своего выступления слегка передвинул рояль — чтоб к свету ближе, это, мол, музыке тоже лучше — влияние солнечных лучей; объяснил хозяйке, что борщ без старого сала — не борщ, а кацапские помои, ей же, дуре-профессорше, долго втолковывал — не соображала! — что капуста в борще — поймите, женщина! — варится ровно семь минут и ни секундой больше, а буряк (о Господи, мадам, это свекла по-вашему) должен быть фиолетового цвета с белыми прожилками (а как же? Значит, ищите! Ищите! Ковыряйте ногтем при покупке!).

Беременной дочке профессора объяснил, как ей правильно рожать. Ни в коем случае не лежа —

это вредная позиция, а только стоя, в крайнем случае, сидя. (Как вы не понимаете? Ребенку ж легче вниз! Это как нырять!) Показал прямо тут же лучшую рожальную позу, после чего на кухне починил форточку и сделал профессору массаж колена, которое у того при ходьбе щелкало.

А потом... Потом, уже лежа на полу в неестественной позе, он назвал профессорскую фамилию, потому что она единственная из всех была похожа на иностранную. Когда же он увидел седую старую профессорскую грудь, на которой беспомощно болтался крестик, увидел глаза без очков, в которых был ужас, Колюня, приняв в себя весь этот ужас, открыл рот и выпустил на волю вой, который, клубком свернувшись, уже давно жил в нем, жил, подрагивая и просясь выйти, и вот, наконец, вырвался.

— У-у-у-у-у-у-у-у-у-у!

...Зефир же можно было есть действительно губами.

Ну, Лелечка, дочечка, так угодила.

А за занавеской лежали девочки — Лизонька и Роза. Нюра им дала по конфете и сказала, чтоб не скрипели, не шумели, а чтоб их как не было. Леля, когда увидела Розу, сказала сразу (хоть и тихо, но Нюра телом на дверь кинулась): «Я этого не понимаю. У нас что, нет системы детских домов?» Ладно, ладно, сказала Нюра, прижимая дверь,

подумаем. Лизонька все-таки услышала это «подумаем», побежала к дедуне на пасеку, в рев. В общем, девочек успокоили. И изолировали, чтобы не вызывать у Лели плохое настроение. На следующий же день гости поехали дальше. У них была путевка в Сочи. Война, можно сказать, шла на убыль, значит, советскому человеку уже и отдохнуть было не грех. Так сказал Василий Кузьмич, и снова заломило в душе Дмитрия Федоровича.

Конечно, все правильно, Леля вон какая лицом малокровная, ей полезно море, но вот зять... Хотя внешний вид не всегда показатель.

— Он у тебя здоровый в смысле внутренних органов? — деликатно так, без всех, спросил Дмитрий Федорович Лелю.

— Он у меня крепыш, — гордо ответила Леля. Он знаешь, какие гирьки жмет. Каждый день — левой и правой.

Дмитрий Федорович сказал, что это очень хорошо, ему лично еще нравится эспандер, с ним можно много делать упражнений.

— Эспандер для него игрушка, — махнула рукой Леля.

Почему так запомнился этот, а потом сразу следующий приезд, будто между ними не было времени? А время было, и какое! Война кончилась, слава Богу. Дмитрия Федоровича сделали

бухгалтером-ревизором, и теперь ему временами для поездок на дальние шахты давали лошадь. Подъезжал фаэтончик с кучером, чин-чинарем, девочкам такая радость прокатиться по улице, а Нюре — гордость. Не каждому к дому подают. Ниночка писала, что выбилась в конторские служащие, работает табельщицей на стройке, слава Богу, теперь в чистом и в тепле. Правда, было еще очень голодно, но тут опять возьми и появиись Леля с мужем и чемоданом продуктов. Нюра такой борщ сварила из банки тушенки, что девочки не могли наестся, бегают, бегают, а потом опять попросят.

А потом был этот разговор.

Утром в спортивном костюме Василий Кузьмич делал пробежку, а Леля сидела в махровом халате и рассказывала им всю правду без прикрас и без жалости. Во-первых — как вам это понравится? — Колюня оказался врагом народа, и она теперь вынуждена скрывать это в анкете, как свой стыд и позор, Как же не везет с семьей! И сестра — женщина поведения время войны небезупречного... И брат...

— Да ты что, Леля! — закричала Нюра. — Я ж нарочно наговаривала на Нинку, чтоб прикрыть ее, дурочку!

Но Леля подняла руку, и это выглядело как знак, она, Леля, знает по этому вопросу гораздо больше, чем знают родители, потому что Василий

Кузьмич собрал всю нужную информацию. Леля вдруг перешла на тонкий голос, и этим голосом объяснила им, что, «если бы не Вася, если бы не его золотое сердце, то еще неизвестно, где бы они все были».

Получалось так, что Леля, благодаря проклятым родственникам — брату и сестре — живет на острие ножа, что такие страдания, как ей, вряд ли кому пришлось переносить, что у нее авторитет, и положение, и перспектива, но все может, извините, пойти под хвост. Хорошо, что хоть Коли уже нету...

— Как нету? — глупо спросила Нюра.

— Господи! — тонко закричала Леля. — А как, по-вашему, поступают с врагами народа?

Тут открылась дверь, и вошел потный Вася. Леля закричала:

— Таз! Быстро таз! Господи, у вас что, нет эмалированного?

Старики так застеснялись цинкового таза, конечно, плохой предмет, что там говорить, подверженный ржавчине, а тут еще — полотенце! Дайте махровое! Что ты суешь мне, мама, вафельное, у тебя что, нет другого? О Господи! Ну, давай простыню! Да не эту! Не эту! Вон ту — льняную!

Обтирали Василия Кузьмича в четыре руки. Батюшки, что это с нами? Что? Колюни нет?